

МАРИНА МОСКВИНА

РОМАН



ОН БЫЛ РОЖДЕН,  
ЧТОБЫ СПАСТИ ЭТОТ МИР,  
И У НЕГО ПОЧТИ ПОЛУЧИЛОСЬ

**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Классное чтение

Марина Москвина

**Крио**

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Москвина М. Л.**

Крио / М. Л. Москвина — «Издательство АСТ»,  
2026 — (Классное чтение)

ISBN 978-5-17-186210-7

Роман “Крио” Марины Москвиной, словно сундук главного героя, полон достоверных документов, любовных писем и семейных преданий. Москва, старый Витебск, бродячие музыканты, авантюристы всех мастей, странствующий цирк-шапито, Америка двадцатых годов, горячий джаз и метели в северных колымских краях, ученый-криолог, придумавший, как остановить Время, и пламенный революционер Макар Стожаров – герой, который был рожден, чтобы спасти этот мир, и у него почти получилось...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-186210-7

© Москвина М. Л., 2026  
© Издательство АСТ, 2026

# Содержание

1. Обитатели вечного настоящего	9
2. “Если мы заглянем в улей...”	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# Марина Львовна Москвина Крио

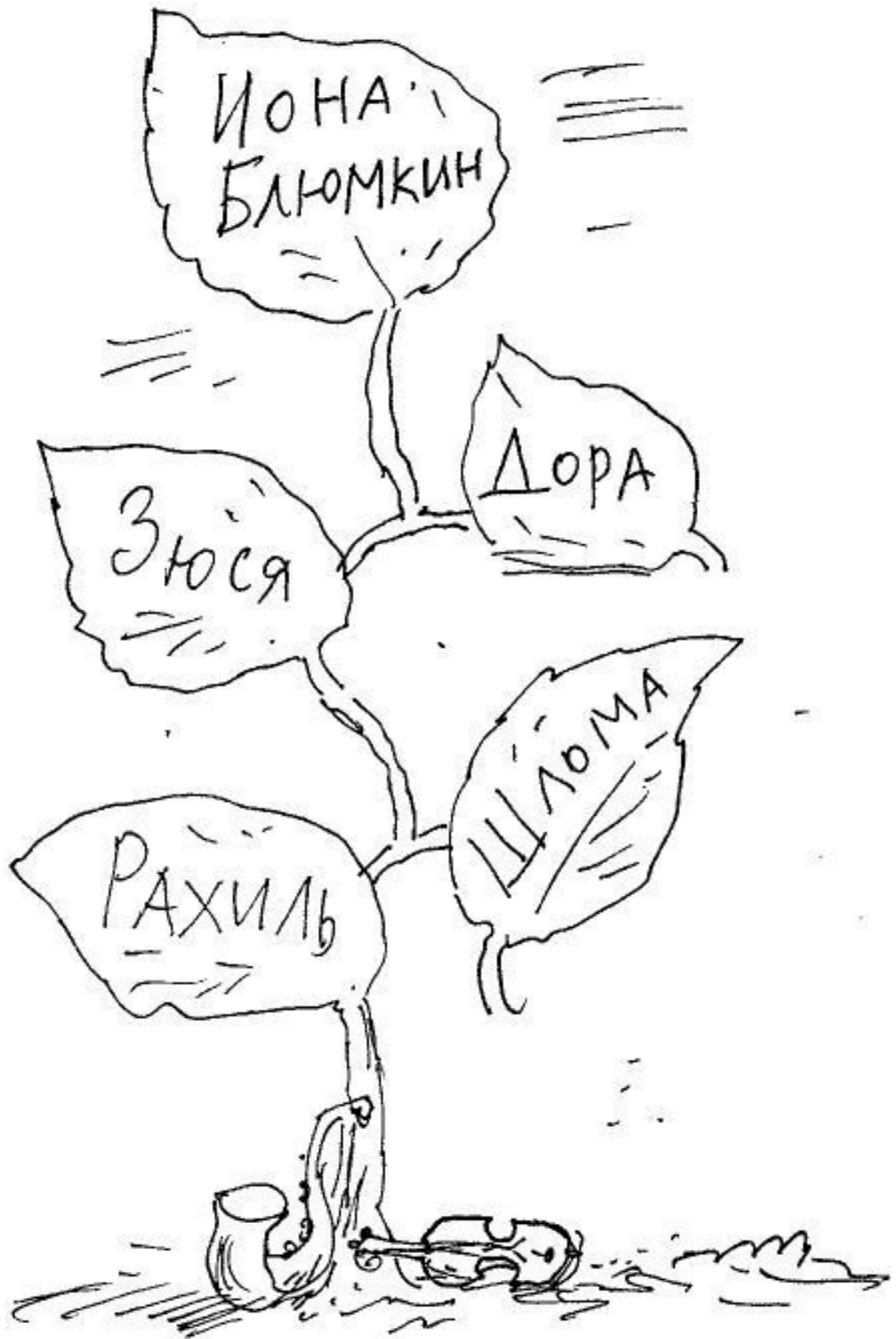


© Москвина М.Л.

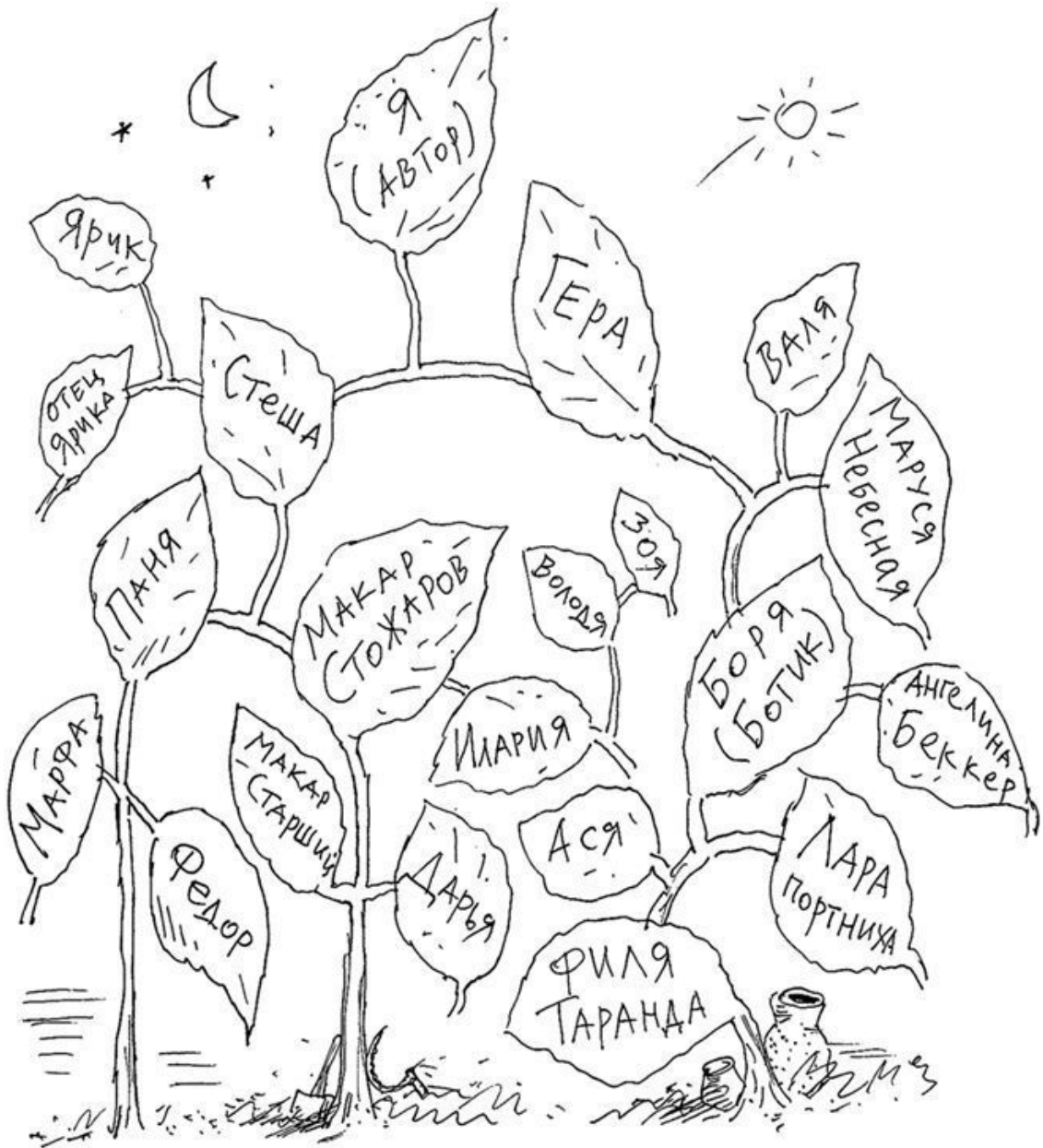
© Бондаренко А.Л., художественное оформление.

© Тишков Л.А., иллюстрации.

© ООО «Издательство АСТ».



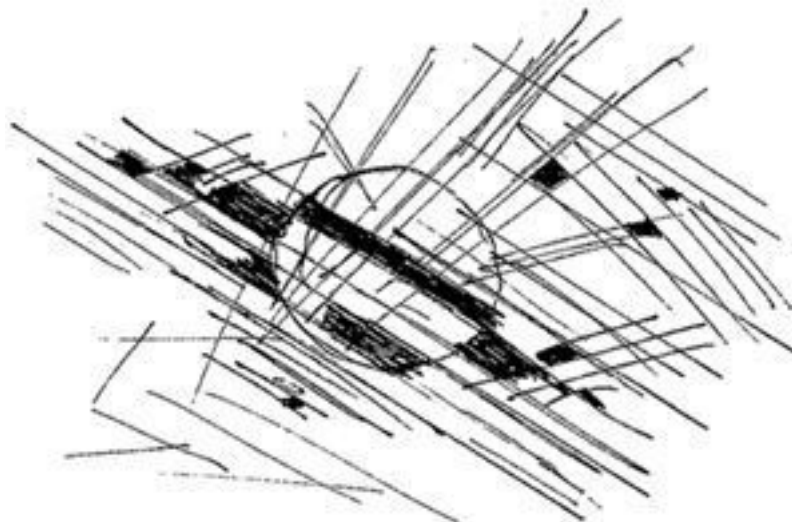
Древо Ионы Блюмкина



Древо Макара Стохарова и древо Бориса Таранды

## 1. Обитатели вечного настоящего





Всё, что меня интересует, – это великая тайна жизни. Кто – человек в центре толпы теней, которого я отчего-то считаю собой? Что он здесь делает – песчинка, захваченная водоворотом имен и форм, в пространстве, которое ему явно снится? Что знает о смысле и цели он, погруженный в гущу материи и оглушенный суматохой этого мира?

Отчаяние или безумное ликование ударит в сердце или его просто смех разберет, дикий хохот, когда обнаружит он собственную версию мира настолько далекой от истинного положения вещей, буквально – никакого отношения?

И в чистоте, сияющей ясности, которая поглотит его, в пульсирующей этой живой пустоте начнет он видеть – что невозможно увидеть? Слышать – что невозможно услышать? Касаться того, к чему невозможно прикоснуться?..

Стеша мне говорила, у африканского племени химба есть слово “танаука”, оно означает крутой поворот, большие перемены. Причем это может касаться чего угодно: пустыни после дождя, внезапно разгоревшейся любви, рожденья, смерти, ну, я не знаю, боевого крещения. Короче, жгучий миг, когда человек ощущает хотя бы неуловимое изменение судьбы.

– При этом химба оглядывается и смотрит на прошлое как на прекрасную реку, которая искрится вдали, – говорила Стеша. – А в конце пути, завернувшись в лучшую свою накидку, он спокойно присоединяется к праотцам, которые живы для него, у них он просил помощи и чудес на земле. Ну и на небесах, естественно, рассчитывает на подмогу...

Вот так бы и мне, когда придет пора, завернуться в шаль с безрассудным узором, сплетенным из старых разноцветных нитей с преобладанием синей пряжи. (Я с ума схожу по синему с голубым. И не обязательно должно быть это небо, марево, море, снег, сумерки или, ну, я не знаю, *взгляд бездонный твой, напоенный синевой...* Пусть даже стена казенного дома, больницы или милиции, если она покрашена незамысловатой синей эмульсией – мне как-то легче на душе.)

Да, завернуться в шаль, связанную из распущенного платья Стеши, хранящую по сей день еле уловимый Стешин запах, вздохнуть и взлететь – к ним, чьи тела и лица возникают передо мной подобно призракам, едва различимые в дневное время, но полностью видимые, когда опускается ночь.

Всё это не так уж четко обрaмлено, их присутствие можно ощутить в любое время. Просто не совсем ясно, где оно начинается и где заканчивается. Вот за этим деревом? После этого облака?

Ибо существуют моменты, когда наши глаза открыты и отдыхают на чем-то, остановившись, и каждая деталь, взгляд, слово, свет, падающий на лицо от соломенного абажура, темные деревья в окне, стук антоновки о землю, грохот нескончаемого товарняка, теплая рука Геры,

возложенная тебе на макушку, Стеша, бредущая босиком вдоль Балтийского залива в синем платье, облегающем фигуру с картины Боттичелли “Рождение Венеры”, хлынувшее солнце сквозь листву, когда ты взлетаешь на качелях, высокая температура и запах камфары, водочный компресс на больных ушах, бабушкин платок, накинутый на лампу, русобородый Сенька, поблескивающий очками сквозь прутья клетки с говорящим скворцом Джоном Ленноном, сосновый бор весь в снегу на станции Кратово, завьюженная электричка, июльский пруд, кувшинки, деревянная лодка, ржавые уключины, брат Ярослав, живой, сероглазый, с таинственной улыбкой, дедушка Боря и его обязательный букет чайных роз на день рожденья, витебский кларнетист Иона Блюмкин – внезапно запечатлеваются в памяти.

Но не приблизиться бы, не поравняться, не прикоснуться, если б из междуцарствия, из бесконечного голубого простора, по рассеянности, как бы случайно, не послали навстречу настоящую волшебную птаху, мудрого сверчка, луговую бабочку...

И одухотворенные столь благоприятными знаками, обитатели вечного настоящего, мы переплываем часовые пояса прошлого на грандиозном трехпалубном пароходе “S.S. Europa”, вместе с Борей (мы его звали – Ботик!), работником торгпредства СССР в Соединенных Штатах, который в октябре тысяча девятьсот тридцать четвертого года с семьей возвращается домой из Америки.

Вон он – стоит на палубе, мой бесподобный дед, в шляпе с бантом цвета темного никеля, незамятой: дно тульи параллельно линии горизонта, в длинном клетчатом пальто из прекрасного бостона с завышенной талией, хлястиком и манжетами. Отутюженные стрелки брюк, удобные ботинки, повторяющие контур ступни, а поверх шнуровки – изысканные гамашы светлого сукна с лямкой под каблук. Истинный джентльмен в четырнадцатом колене, Джек Восьмеркин – американец, наяву, а не во сне пересекающий Атлантический океан.

Облокотившись на бортик, он придерживает сидящего на перилах шестилетнего дядю Валу в черном котелке, словно какого-нибудь отпрыска заморского аристократа. Мой папа Гера восьми лет – в двубортном пальто с отложным бобровым воротником, тоже в респектабельном котелке с перехваченной лентой тульей, в чулках и лакированных туфлях, глядит исподлобья – солнце слепит глаза. И совсем юная Ангелина, немка, Ангелина Корнелиусовна Беккер, положила руки ему на плечи.

Какие виртуозные портные придали ее одеянию столь мягкий, текучий силуэт? Что за уютные меха накинута на плечи и опоясывают запястья? Какие сложные по фасону туфельки, тонкие кожаные перчатки с пряжками, шелковые фильдеперсовы чулки, которые в эпоху Великой депрессии ввели в обиход шансонетки – сестры Доли!

В России такие тонкие прозрачные чулки загорелого цвета стали носить только в конце тридцатых годов. До этого обладать подобными чулками, по большей части импортными, считалось непростительной роскошью, благодаря их дороговизне и непрочности. Стеша говорила, с этими чулками жуткая морока: надо было их постоянно штопать на граненых стаканах или деревянных грибах, поднимать петли, следить, чтобы шов сзади был ровно расположен. К тому же после Первой мировой войны за пару шелковых чулок, полученных, к примеру, бандеролью из Нью-Йорка, могли не только посадить, но и расстрелять: связь с заграницей – нешуточное дело. Только в тридцать восьмом году Стешиней маме, бабушке Пяне, на годовщину революции подарили первые нейлоновые чулки. Вскоре началась война, всё это можно было достать лишь втридорога на черном рынке. Поэтому Пяня и ее соратницы из Моссовета до зимней эвакуации в Казань красили ноги чайной заваркой и рисовали шов сзади карандашом для бровей.

А моя золотая бабушка Ангелина – в тридцать четвертом – со своей сказочной фамилией и национальностью, давшей миру великого Гёте, Шиллера, Бетховена, братьев Гримм, а заодно и поэта Курта Басселя (чья жизнь и творчество двадцать лет спустя лягут в основу дипломной работы Стешы, и та ее триумфально защитит на романо-германском отделении филфака МГУ, демобилизовавшись из армии после победы над Германией), стройная, высокая Анге-

лина Беккер ласково глядит с фотографии, грустно улыбаясь, снятая во весь рост – в тех самых искрящихся чулках, недостижимых для простой смертной женщины! И это великолепие венчает маленькая с отворотом фетровая шапочка с кремовым перышком надо лбом.

В грузовом трюме плыли с ними в Москву три весьма габаритных предмета: радиола, холодильник и американский автомобиль “Форд”.

Длинные тени – наверное, день клонился к закату – упали на поверхность океана, вскипающего бурунами. За спинами у них расстилался необозримый встревоженный океан.

Ботик – сын Фили Таранды с Покровки – родился с первыми петухами на закате девятнадцатого века, в русском народе этот июльский денек звали Прокл Великие росы.

Действительно, утром на траву обильная выпала роса. Филя вынес Ботика из дома и окунул в густой речной туман, омыл от макушки до пяток росой: считается, что Прокловы росы целебны и защищают от недоброго глаза.

Через пару часов на Песковатиках из благословенного чрева Доры Блюмкиной вынырнул товарищ Ботика, Иона. Легенда гласит, что в руках его был маленький медный кларнет. И вместо традиционного младенческого крика он исполнил на нем что-то предельно простое, но трогающее душу, быть может, куплет из песенки “Наплачь мне полную реку слез”, которую так любила напевать портниха Дора за своим шитьем.

Два этих поистине вселенских события произошли в славном городе Витебске – на ветру, на холмах, где и правда всё летело: речка, мост, дорога, узкие улочки, заросшие подорожником и лебедой, кабаки с жестяными вывесками, разукрашенные пенящимися кружками и курицей на вертеле, высокая белая церковь на Соборной площади, первая пропускная баня, плуговой завод, игольная фабрика, шляпочное кустарное предприятие – Володарского, дом восемь, кружок по изучению критики чистого разума Канта – Зеленая, пять, приют для малолетних преступников на Богословской, общественные прачечные, тюремная библиотека при губернской тюрьме, балетная студия на Верхне-Петровской улице...

– Витебск. Это, знаешь, очень обаятельный город, – говорил мне Ботик. – В отличие от Минска...

– К тому же речной простор – непременно условие для города летящего... – подхватывала Стеша. – Холмы. И река. И тебе обеспечен поэтичнейший фундамент для любых диалогов, объяснений в любви и прочее...

Действительно, в связи с общей покатостью и взгорбленностью ландшафта дома выглядели как на картинах Шагала; тот появился на свет на тех же Песковатиках, а после очередного пожара всей семьей они перебрались на Покровку.

Ботик показывал мне в альбоме репродукций своего прославленного соседа, каким-то чудом раздобытом Стешей в ознаменование семидесятилетия Ботика, их скособоченный дом, обнесенный покосившимся забором, и точно такое жилище Ионы; только перед калиткой Фили Таранды бродила голубая коза, а у Блюмкиных об угол забора чесались свиньи.

Надо ж было такому случиться, что прямо на Прокла с его немереными росами в маленьком деревянном доме позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, что случалось довольно часто и до и после столь знаменательных происшествий.

Отец Ионы – Зюся, представьте, скрипичный мастер, решил вывезти с поля солому на подстилку их чалой коровке. По дороге солома загорелась. К счастью, неподалеку высилась пожарная каланча. Туда и помчался Зюся на пылающей колеснице, запряженной соседским мерином Капитоном, надеясь, что пожарные помогут спасти хоть что-нибудь из его добра. Однако, захваченные врасплох, те не сумели справиться с пламенем, так что вместе с соломой сгорела и телега, и пожарная часть города Витебска.

Другой мой дед, Макар Стожаров, явился на свет в глухих Сыромятниках на берегу речки-вонючки Язуы в одноэтажном бараке, благородно именуемом “спальной”, хотя это была заштатная ночлежка для беспорточников и голодранцев, которые в рабочей слободе встречаются на каждом шагу и вместе с дымом, унылым кирпичом и известкой составляют неотъемлемый компонент окраинного московского пейзажа.

В “спальне” ютились сорок человек – в основном рабочие красильной фабрики, но попался и ремесленный люд: мастеровые, прачки, грузчики, матросы буксирных пароходов, пара стекольщиков, был даже один дровосек по имени Порфирий Дардыкин.

На общей кухне варили постные борщи и картошку жёны семейных обитателей. Дарья, супруга Макара Стожарова, кроткая, молчаливая крестьянка на сносях, славилась каким-то особенным картофельным пирогом с хрустящей корочкой. Их старший сын Вавила, мечтательный подросток, трубивший на заводе Гужона, всегда забегал в обед отведать ее пирога. Вскоре он станет народовольцем. Как сложится его жизнь, мы не знаем – нет в сундуке у Стожарова об этом никакой информации.

Средний брат Ванечка, судя по его письму и черно-белой открытке с портретом Подвойского, присланным Макару в тридцать девятом году из Хабаровска, пережил множество бед и невзгод. А пока целыми днями слонялся на пустыре за сараем с деревянным мечом, рубил крапиву и лебеду.

В пять утра над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал фабричный гудок. Послушные этому зову, жители Сыромятников отбывали на заповедные промыслы – кто в мастерские, кто на красильную фабрику или – как мой дремучий предок Макар Макарыч, в форменной фуражке с алюминиевой бляхой и пластмассовым козырьком, – к вокзалу.

Около полуночи закатывались в какой-нибудь захудалый трактир – пили, курили, сквернословили, устраивали пьяные потасовки, пока совсем не выбивались из сил, падали на лавки и забывались мертвецким сном.

В такой канонической трущобе Макар выкарабкался из вечности и, потрясая миллиарды миров, испустил торжествующий вопль, который пробился сквозь грохот вагонных колес и тягучие гудки паровозов; даже носильщик Стожаров с Курского вокзала услышал и примчался с горой чужих чемоданов на тележке!

Его рождение, Стеша говорила, сопровождалось многочисленными благоприятными знаками. В небе сияло множество радуг и пролился целый дождь из цветов.

Несколько месяцев не умолкал этот горлопан, сводя с ума родную ночлежку, так вопил, что дребезжало единственное стекло в окне, хорошо, остальные рамы были заделаны тряпьем и бумагой; от рева сотрясались нары; стены и потолок ходили ходуном, звенели в стаканах ложки, распахивались створки шкафов, оттуда вываливались на земляной пол кастрюли и тарелки, нарушая отдых и без того изнуренных, пришибленных жизнью людей, лишая надежды на воскрешение потерянных сил и возрождение утраченных соков.

Чтобы унять младенца, Стожаров давал ему тяпнуть винца и по христианскому обычаю окунал с головой в Язуу.

– Макарыч, да ты там его попридержи! – дружелюбно советовали ему обитатели ночлежки.

А ночью слышался неодобрительный ропот, дикая брань, дело чуть ли не доходило до рукоприкладства:

– Заткни глотку, Дарья, своему рыжему черту!!!

В полном беспомоществе Дарья Андреевна молила Архангела Михаила Грозных Сил Воеводу, чтобы тот прибрал беспокойную душеньку Макара.

Но Архангел Михаил не внимал ее молению, хотя отлично знал, сколько от младшего Стожарова еще будет шума и треска.

Мой прадед Филя был горшечник, на его плошки, кувшины с горшками слетались порой не только соседки со всей округи – тетушки Гутя, Шая, Ривка, Амалия, Мира, Агнесса: из-под верхней юбки торчит нижняя, из-под одной косынки другая, из-под пятницы суббота, белозубые улыбки, в волосах запутались гребни и шпильки, – жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, что опять же детально отобработано на полотнах всемирно известного очевидца их полетов, – но и прибывали гонцы от более важных персон, таких как письмоводитель Виктор Бонифатьевич Климаневский, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский асессор, уездный казначей, титулярный советник – весь высший свет Филя обеспечивал своей продукцией.

Даже секретарь городского старосты Елеазар Вениаминович Блюдухо высоко ценил Филину утварь и отправлял за его гончарными изделиями свою почтенную супругу Евну Иоселевну Шапиру. Нет смысла говорить, что уездный стряпчий Болеслав Федорович Штромберг затоваривался только у нашего Фили.

Сколько лет прошло с той чудной поры, когда мне Ботик с гордостью перечислял эти достославные фамилии. Боря припоминал, что и Хазя Шагал – селедочник со своей крохотной женой Фейгой тоже накупали у них горшки, когда перебрались с Песковатиков на Покровку.

Фейга любила поговорить, и вот они подолгу судачили с моей тихой и кроткой прабабушкой Ларочкой. Фейга места не находила: ее сын, Марк, вздумал стать художником.

– Да ты спятил! – она ему говорила. – Что скажут люди???

Тот ехал на трамвае вниз к Соборной площади и увидел вывеску: “Школа живописи и рисунка художника Пэна”.

Марк уговорил Фейгу поехать с ним к Пэну, вот они заходят – на стенах развешаны портреты: дочь градоначальника Пржевальского, дородная супруга, а рядом и сам Викентий Феликсович, по слухам даже на ночь не снимавший с груди серебряную медаль “За усердие”. Портрет главы сиротского суда Евстафия Францевича Цитринко, штатного врача богоугодных заведений Артура Самсоновича Шоппо, да что Шоппо – бери выше! – уездный предводитель дворянства капитан Игнатий Имануилович Дроздовский, кавалер ордена Святой Анны третьей степени, заказал Пэну свой парадный портрет.

Фейга впервые очутилась в мастерской художника, она озиралась по сторонам боязливо, оглядывала портреты, вдруг ей бросилась в глаза картина, где лежала обнаженная натурщица.

– Такой срам! – рассказывала Фейга Ларочке. – Я вся вспыхнула, спрашиваю: “Это кто?..”

А художник Юрий Моисеевич Пэн, экстравагантная личность в длиннополом сюртуке, карманные часы на цепочке, светлая бородка клинышком, потупился и ответил, смущенно улыбувшись:

– Это я.

До трех с половиной лет Стожаров немотствовал. Лишь на четвертый год из уст его изошло Слово. Да не одно, а, можно сказать, четыре.

В тот памятный день Макар неожиданно куда-то смылся. Дарья искала его по всем баракам на пустыре, звала, плакала, пока Макара в рубахе до колен не явился к ужину.

– Где ты был???

– она вскричала для порядка, не ожидая ответа.

На что он неожиданно отозвался, четко артикулируя:

– Я резался в карты.

После этого случая маленький Макар стал записным говоруном.

В сатиновой рубахе, которую Вавила в свое время передал Ивану, а тот со своего плеча пожаловал Макару, босой, веснушчатый, худой, стоял он, окруженный сверстниками, полунемыми и кособокими, и потчевал их бесконечными сказаниями – про Сарай и Пустырь.

Мол, ихний сарай – не просто сарай, а *караван-сарай*, который брел, брел по пустыне, потерял дорогу домой, заблудился и осел здесь на диком пустыре.

– Видите, – говорил Макарка, – у сарая торчат из углов бревна – это его ноги, их обрубил мужики: пришлые плотники, что строили здесь церковь, когда увидели из-за вон той березовой рощи медленно ползущий сарай, они не испугались, а вышли вперед и топорами подрубили ему ноги. Вот он и осел здесь, охнул, брюхом упал в пыльную землю. И эти же мужики стали первыми жителями бродячего сарая. А мы – уже пятое поколение. А пустырь этот и не пустырь вовсе, а кусок огромной коровьей лепехи: когда-то пролегалла здесь коровья дорога, шла одна тучная корова, заболел у нее живот, и насрала она здесь, где я стою.

Макар не шепелявил и не картавил, складно формулировал, часами разглагольствуя крепким голосом упругим:

– Пойдите в любую сторону, – он всех уверял, – увидите край этой лепехи, сухой, изрезанный оврагами с крапивой. Не верите? А вот понюхайте, как после дождя воняет, поэтому наша речка называется “вонючка”. А в этой вонючке живут водолазы, прячутся, как бобры, в норах под берегом, питаются дождевыми червями.

– А откуда оне, энти водолазы? – спрашивал Евсей-ка, самый смышленный из ребят.

– Если кто утоп, тот и становится водолазом, – объяснял Макар. – Все утопленники, которых не нашли, обернулись водолазами и никогда не вылезают из воды, только на Ивана Купальника ночью можно их увидеть, если подманить лучиной.

На Покровку из-за очередного пожара, или потопа, или падения метеорита перетащили пожитки и заняли ветхий домик, вросший по пояс в землю, Зюся Блюмкин и его семейство. При этом неунывающая Дора как ни в чем не бывало вывесила на входной двери свою неизменную табличку с надписью “Моды Парижа”!

Три семьи обитали поблизости друг от друга. Иона с Ботиком играли в перышки и в городки, лазали по крышам. Ботик с сестрой часто навевывались в лавку Хази, чтобы за хвост вытащить из бочки мокрую селедку.

– Нам, пожалуйста, на три копейки селедочки. У вас такая вкусная! – говорила Асенька.

В осенние праздники дружно вытряхивали из одежды в холодную Двину свои грехи. Ботик забирался в сад через забор, воровал и ел яблоки, Иона учился грамоте и пению, пиликал на скрипке, дудел на кларнете.

Ася ходила хвостиком за Ионой. Свою любовь к нему, как полыхающий факел, она пронесла сквозь целую жизнь, хотя у нее были и мужья, и высокопоставленные любовники.

Но! – она говорила в глубокой старости, – если бы Иона Блюмкин позвал ее, хотя бы когда-нибудь, – она говорила, глядя на проплывающее в окне облако, грустно качая головой, – хотя бы во сне, в больничном бреде или спяну одними губами прошептал: “Ася”, – она бы услышала на краю света и очертя голову бросилась за ним куда угодно, хоть в Соединенные Штаты, хоть на Колыму в Чай-Урьинском направлении.

– В детстве я очень любила музыку, – она рассказывала нам за праздничным столом. – Мне было полтора года, мы жили в Витебске, когда мама отправила меня погулять во двор, а по улице проходил военный оркестр. И я ушла за военным оркестром, подпевая и дирижируя. И на протяжении пяти с лишним часов мама не знала, где я. Меня нашли чуть ли не на другом конце города, я стояла и пела около стенки дома, раскачиваясь в такт, стучая попкой о стену. Я потом Ларе всю жизнь говорила:

“КАК ТЫ МОГЛА???”

Зюся – сын клезмера Шломы Блюмкина.

В черном длиннополом сюртуке, под которым виднелась поддевка и рубаха, с тощей бородой, пегими усами и в потертой фетровой шляпе, Шлома бродил по деревням, зажигал на многолюдных родственных застольях, свадьбах и бар-мицвах, на земляческих торжествах, развлекавая столяров, кузнецов, лодочников и горшечников. Он был худ, и бледен, и близорук, а

его пальцы – тонкие, белые, как будто сахарные, да и весь его облик напоминал старинную фарфоровую фигурку уличного скрипача, доставшуюся мне в наследство от незабвенной Панечки.

Казалось, Зюсе была уготована та же судьба, недаром он всюду таскался за Шломой, шагал от деревни к деревне по ухабистым дорогам, мок под дождем, грязь месил, пропадал под лучами палящего солнца, только чтобы увидеть, как Шлома достает из футляра свою волшебную скрипицу...

Но случилось какое-то происшествие, Ботик точно не помнил какое, а только Зюсик не стал скрипачом, хотя имел для этого все предпосылки. Он взялся мастерить “цыганские” скрипки, “саксонские” альты, один к одному получались у Зюси “испанские” гитары, в Музее музыки на Зеленой по сей день хранится сооруженная им виолончель! И на всём этом Зюся виртуозно исполнял “Чардаш” Монти.

Незатейливые напевы Доры, умноженные на “Чардаш” Зюси, – вот в чем крылись тайные пружины Йошиного гения, который не утаился от всевидящего ока Маггида. Поэтому на праздник Рош ха-Шана, пресветлый день коронации Всевышнего, когда буквально каждый правоверный пробуждается от сна существования, душа трепещет в ожидании Божественного Суда, а молитвы о спасении и милосердии исторгаются из бездны сердечной, Маггид оказал Ионе высочайшее доверие – трубить в шофар.

Иона шофара в руках не держал, поэтому жутко нервничал, всё сомневался – получится у него или нет. Вдруг вместо могучего зова к небесам, несущего искупление и прощение, – на каковой, собственно, рассчитывали беспечные обитатели витебских палестин, – не приведи Господь, он “даст петуха” и опозорит навеки Зюсю, Дору, своих лучезарных косматых предков и далеких пучеглазых потомков, взирающих на него из будущего с надеждой и упованием, – короче, достойнейший род Блюмкиных от истока бытия до скончания света?

Ионе даже не позволили репетировать, поскольку трубление производилось строго в назначенный день и час, ведь это серьезная штука, абсолютно первозданная, суровый ритуальный рог, волей-неволей напоминающий о баране, который был принесен в жертву Авраамом вместо Исаака.

– Просто нонсенс какой-то, если в шофар начнут трубить кому не лень, когда вздумается, без всякого смысла и цели, – ворчал кантор Лейба, решительно отстраненный Маггидом от грядущего трубления, поскольку на прошлый Новый год он якобы трубил совершенно без огонька, а только по обязанности и по привычке.

Тяжелые вздохи измученной души и покаянные вопли кантор еще худо-бедно изобразил, зато финальный звук – *ткиа гедола*, – венчающий празднество, вышел до того скверно, будто марал заблажил! Ничего общего с Божественным гласом, возвещающим о милосердии и прощении вполне разношерстной компании, собравшейся в синагоге на Покровке, с их мелкими злодействами, огромным самомнением, жульничеством, кутежами и разного рода передрягами, в которые они то и дело влипали благодаря неумемному жизнелюбию.

В результате народ разошелся по домам, слегка неуверенный в том, что их без разбору вписали в Книгу благополучной жизни вместе со всеми праведниками Израиля.

Словом, Большой Маггид, пастырь Израилев, видящий насквозь душу каждой своей овцы в ее умеренных исканиях пути истинного, а всё больше – разброде и шатании, счел недопустимым подобное финальное трубление, ибо многие силы он отдавал для искоренения главного греха человеческого – уныния – и любил одну притчу, ставшую впоследствии известным анекдотом.

– В один прекрасный день, – начинал Маггид рокочущим баритоном, почесывая подбородок, заросший курчавой бородой, – с небес раздался глас Господень, и тонких ушей коснулась весть, что моченьки больше нет взирать на эти неискоренимые Содом и Гоморру. И если через месяц люди не одумаются, то Он опять найдет сокрушительный Потоп, пока земную твердь не зальют воды божественного возмездия.

Католический ксендз воззвал к своей пастве:

– Братья! Одумайтесь! Начните новую жизнь! А не то через месяц Господь сотрет нас с лица Земли.

Батюшка обратился к православным прихожанам:

– Дети мои! Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Покайтесь!!!

Взбудораженные евреи тоже гурьбой повалили в синагогу. И когда шум стих, раввин объявил:

– Значит, так: у нас есть месяц, чтобы научиться жить под водой...

Стеша боготворила Макара. Хотя они редко виделись, очень редко. У него была другая семья, сын, пасынок, бурная жизнь, полная скитаний и тревог, животворящих трудов, смертельной опасности, взлетов и низвержений.

Ничего, она его постоянно ждала, а когда Макар нежданно-негаданно заглядывал к ним на мгновение с кульком карамели, кидалась ему навстречу с криком: “Папка!”

Стешины подружки детства Светка и Майка рассказывали, что в этом редком случае им приходилось тут же отправляться домой, ибо остальной мир для нее прекращал существование.

С пяти или шести лет она положила начало великой книге о Макаре и создала ее до конца своих дней. Десятки заявок в издательство “Московский рабочий” и “Политиздат”, пятьдесят рукописных начал, двадцать середин, двадцать пять финалов и добрую сотню заглавий она возложила на алтарь своей любви. Стеша только не знала – нужно ли писать исключительно правду или можно чего-то присочинять.

Склоняясь к правде, она опять-таки оказывалась на перепутье.

Мемуары Стожарова изобилуют противоречивыми сведениями.

В парадном житии старик – выходец из потомственной семьи землепашца, по другой версии – отец Макара служил на красильной фабрике, изобрел несколько оттенков красок и сочинил книгу “Руководство красильным производством”, где для каждого тона подробно написал рецепт и дал образец. Видимо, в какой-то момент он сменил род своей деятельности, став носильщиком на Курском вокзале, я не знаю.

Далее Макар в жизнеописании сообщает, что на Первой мировой под Танненбергом угодил в немецкий плен, откуда бежал, хотя был тяжело ранен в ногу. В другом месте пишет: в той же самой битве среди немногих – мятый, битый, только не убитый – каким-то чудом выкарабкался из “котла”.

Причем всем этим взаимоисключающим казусам судьбы сопутствует неопровержимое вещественное доказательство. Например, в сундуке у него хранятся образцы тканей пятнадцати оттенков голубого, а также медаль “За храбрость” четвертой степени за побег из плена.

Попутно замечу: в тридцатые годы, скрываясь от ежовых рукавиц партийных соратников, Макар становится безымянным красильщиком в Раменском районе на станции Кратово.

Да и Стеша вечно будет перекрашивать все вещи в доме – из белых в желтый и голубой. Если часами варить желтое в синем, учила она меня, цвет выйдет изумрудный или болотный... Зеленый, добавив красного, легко преобразовать в коричневый. А уж коричневый, – Стеша вздыхала, – только в черный.

Стожаров и сам был одержим писательским бесом. Костры графомании пылали в нем, разгораясь с годами, бросая грозные отблески на грядущие поколения.

“Сперва мир казался мне хаотическим и случайным, в нем не было стройной системы, – пишет Макар в своей автобиографии красными чернилами, ни капли не поблекшими, хотя и на пожелтевших от времени бланках по продразверстке. – В стройную систему укладывались только мама, похлебка тюря и картофельный драник. Всё остальное вообще не выдерживало

никаких логических построений. Но было еще что-то, что в моем представлении царило над вышеозначенными столпами, – это БУКВА.

Буквы завораживали меня, я впадал в ступор при виде букв. Мне казалось, что в букве заключена вечная неоспоримая истина, не подверженная тленью. Много лет я оставался во власти их притяжения.

Помню, вышел я на рассвете по малой нужде, и в летящих над Яузой журавлях померещились мне письма, исполненные смысла, который можно извлечь, имея тайный ключ. А журавли – это буквы, которые кто-то пишет на небесах.

В сарае у нас накурено, сумрачно, дымно, даже в ясные солнечные дни в воздухе стоял полумрак, но в щели бил нестерпимый свет, и в этих лучах, в том, как они соприкасались, скрещивались и скользили вдоль друг друга, чудились мне какие-то важные вести и послания.

Мне казалось, – кропал Макар, и пунцовые строки расплывались под его пером, как на расписке Фауста Мефистофелю, – если познать глубинную сущность букв, то можно управлять миром”.

Стеша говорила, во времена его детства у книжной лавки Сытина на приступочке вечно сидел какой-то татарин, похожий на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле. Хотя он и пытался что-то непринужденно насвистывать в своем некогда коричневом сюртуке, щедро усеянном сальными пятнами, один только взгляд на его удрученное лицо и на всю эту робкую фигуру, от которой так и веяло нищетой, заставляло сердце Макара сжаться.

Старик тоже заметил Макара, как он приклеивался каждый божий день к витрине книжной лавки и зачарованно глядел на яркую обложку Букваря.

– Желаете иметь Букварь? – спросил он понимающе. – Тебе надо купить его. И съесть.

При всём убожестве, старик держался с достоинством, перебирал четки, весь день посащивал сухари, курил козью ножку. Зимой и летом на коленках у него лежал Коран, прикрывал дыры на штанах.

– Как это съесть? – удивился Макар.

– А так! – сказал он, предложив Макару отведать табачку.

Дальше Макар не помнил – то ли задремал, то ли ему привиделось, что старый татарин вместо Корана держит в руках Букварь, вытаскивает оттуда страницу за страницей, протягивает Макару и бормочет:

– Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом<sup>1</sup>, научил человека тому, чего он не знал.

А тот послушно берет листы, откусывает, прожевывает усердно и глотает, ничем не запиная.

И они в устах его были сладки как мед.

Читать Макар выучился по вывескам на магазинах и трактирах, слоняясь вдоль Вороньей улицы и глаза по сторонам.

Так ли это? Много сорванцов болтается на улицах, но кто из них грамотный? Никто! А вот Макар наловчился угадывать буквы навскидку, точно и безошибочно распознавать – от простых татуировок на руках матросов до надписей, которыми пестрели вывески и витрины Вороньей улицы.

Началось его познание кириллицы в тот памятный зимний день, когда он увидел Букварь сквозь разрисованное морозными узорами стекло витрины книжной лавки Сытина. Букварь был раскрыт на букве “С”. Во всю страницу подробно и старательно сепией выписана сахарная

---

<sup>1</sup> Тростниковое перо для каллиграфии.

голова, рядом с ней дымилась чашка с чаем, на блюдце – сколы сахара. И подо всем этим богатством начертано какое-то слово.

Макар прильнул к окну, разинул рот и собрался проглотить большую черную букву, похожую на месяц, сахарную голову, неведомое слово, состоящее из полукружия, двух острых башенок, скрещенных палочек и кружка на костыле, а потом запить это дело чаем.

Вдруг он почувствовал, что губы и язык прилипли к ледяной железной решетке. Он рванулся, и вместе со жгучей болью в его голове вспыхнуло слово “Сахар”, выложенное кристаллами. Он даже ощутил его вкус, который, на удивление, был соленым.

После этого случая какая-то непонятная метаморфоза произошла с Макаром – он смотрел на буквы, и у него в голове они соединялись в слова, значение которых было ему понятно. Как вывески, обрамленные вензелями, всплывали в его мозгу: “Баранки маковые”, “Духовитый О-де-Колонь”, “Подпруги и прочие конские причиндалы, торговля Бурькина”.

С тех пор он стал читать бегло и свободно, без всяких затруднений, вечно упрасывая отца купить ему в лавке Сытина какую-нибудь книжку. Поскольку книги, заявил Макар отцу, а ведь ему не было тогда и шести лет! – книги, мать вашу, чтоб вы знали, – он так и сказал носильщику Стожарову, – суть “жизнь наша – щи да каша”!

Свой веселый нрав Маггид получил благодаря “корням души” – неисчислимым заслугам предков во всех поколениях. Он выглядел очень странно, ходил как корова и озирался, словно тигр. К тому же он мог дотянуться до носа кончиком языка. Громкий смех его оглашал округу, когда речь шла о пустяках жизни, каждого встречного готов был обнять и простить и отговорить вешать нос на квинту.

Но в том, что касалось божественного промысла, он становился непреклонен.

– Бог, – говорил ребе, – находится вне нашего понимания. И разговор с ним – трубление в шофар – непредсказуем, непостижим. Даже я не могу предугадать, чем это дело обернется.

Поэтому Большой Маггид решил возложить сей груз на плечи отрока Ионы, пусть юного и неоперившегося, зато встречающего каждый день изумлением и восторгом.

Ионе сказали только, что трубить следует правой стороной рта. И шофар надо обратить к небу. А там уж, под водительством Маггида, почует он источник степенного вселенского ритма и наверняка прорвется в неизмеримое.

– Что??? – Зюся счел это сумасбродством. – Йошка – трубить в шофар? Этот сорванец? Кому такое в голову взбрело?

– Боже мой! – всплеснула руками Дора Блюмкина.

Одно дело – мальчик подыгрывает ей на кларнете, когда она возьмется напевать вальсок “Настанет день, мой принц придет”, и те, кто в это время бежит по своим делам мимо распахнутого Дориного окна, останавливаются и забывают, куда они, собственно, бежали. Иной раз целая толпа соберется под окном, подпевает и пританцовывает. А тут – на тебе! Ее сыночку придется сменить кларнет на шофар, и вся Покровка, вслушиваясь в эти звуки, будет умирать от страха, вспоминая о Судном дне.

Зюся даже попенял Большому Маггиду:

– Ребе, подумай хорошенько! Я понимаю, если б Йошка был сыном раввина...

На что прозорливый Маггид отозвался, сверкнув смоляным глазом:

– Брат сердца моего! Тот, кто благословил наших отцов Авраама, Ицхака и Якова, кто дает пищу странникам и милостыню нищим, прощает нам все грехи, отводит от нас болезни и посылает удачу во всех делах, тот и дарует благословение твоему сыну, ввергнутому в печь испытания.

И, увидев, что Зюсю он не убедил, – добавил:

– ...В конце концов, этому вовсе не обязательно быть приемлемым.

Однажды в чулане, где обитатели барака хранили свои скудные припасы, Макар увидел книгу. Мать послала его принести корзинку с остатками сушеного гороха, но гороха там и след простыл, осталось лишь пустое дырявое лукошко с катышками мышиного помета. А вот рядом лежала книга: “Жюль Вернь. Дети капитана Гранта”.

Как она туда попала, одному богу известно. Издание Эдуарда Гоппе, перевод Марко Вовчок, С.-Петербург, 1881 год, в пожелтевшей обтрепанной обложке, уголки ее обломались от сухости, малость голуби попачкали, края погрызли крысы, но листы прошиты суровой ниткой, и можно было не бояться, что она развалится.

На ее страницах Макар обнаружил восхитительные гравированные иллюстрации. На одной была изображена яхта “Дункан”, за бортом высились прибрежные горы островов Зеленого Мыса, над бушпритом реяли чайки, на носу стоял знаменитый географ Жак Паганель с его юным другом – Робертом Грантом. И подпись:

*“Бойкий мальчуган! – сказал Паганель. – Я обучу его географии”.*

Макар спрятал книгу за пазуху и весь день носил ее там, чуя из-под рубахи запах соленого моря, слыша крики чаек и поскрипывание канатов. Ему даже казалось, что книга шевелится у него на животе, как живая.

В сумерках Иона прибежал на обрыв и подолгу сидел на бревне, подперев кулаками щеки, взирая на безмерные миры Вселенной, прислушиваясь к завихрению маленьких нот в этой спокойной поющей необъятности, ждал, когда Ботик вернется с завода и они пойдут вместе бродить до утра по полям и лугам.

Окончивший четыре класса гимназии Ботик был отдан в люди – на игольный завод. Он делал дырочки в иголках, поэтому до старости легко вдевал без очков любую суровую нитку в игольное ушко.

Порой появлялся неслышно из темноты – усаживался рядом с ними Сева-барабанчик, божий человек: как похороны – он всегда шагал впереди, стучал короткими палочками в маленький барабанчик.

Если долго ничего не происходило в этом духе, Сева барабанил во все без разбору двери и спрашивал:

– У вас нет покойника?

Боялся пропустить.

Как-то раз на бревне, на речном обрыве Иона обнаружил равви Маггида, неподвижно глядящего вдаль. Он даже не повернул головы, когда Иона приблизился. Но после долгого молчания произнес:

– Хочешь знать, как трубить в шофар? Ты должен стать просто ухом, слушающим, что говорит в тебе вселенная. Но как только ты начнешь слышать в себе лишь самого себя, немедленно остановись.

После чего Иона окончательно струсил и дрожал без остановки до самого Нового года.

Макар смотрел на мутные воды Яузы, на теток в черных балахонах, что тащили вороха тряпок на берег, и показалось ему, что дырявая лодка, привязанная к колышку, это не лодка вовсе, а корабль “Форвард”, а на носу его стоит капитан Гаттерас и машет ему рукой.

– Счас, счас, – закричал Макар ему, – только за ребятами сбегая, одному-то боязно!

И понесся к себе во двор, где друзья играли в “балду”.

– Слушайте, Шурупчик и Кумпол, и ты, Мурло, мы уплываем в Африку, в экваториальное Конго, хватит тут пыль глотать, на хрен всё! Ждет нас совсем иная жизнь, охота на тигров и страусов. Ты, Мурло, пробовал когда-нибудь яичницу из страусиных яиц?

– Да я куриное яйцо последний раз на Пасху ел!

– Так вот, теперь ты будешь есть каждый день страусиные яйца и пить кокосовый сок! У нас на “вонючке” стоит у причала корабль, ну, привязана одна лодка, мы ее починим, оборудуем как яхту, соберем сухари, вещей нам много не надо, в Африке круглый год тепло, и айда в плавание. Я путь знаю, через Оку, Волгу до Астрахани, потом Черное море, Средиземное море, Суэцкий канал, а там – Берег Слоновой Кости...

Его друзья стояли как чурбаны, вытаращив глаза. Очарованные странными названиями, они повторяли за Макаром: “Берег Слоновой Кости, Трансильвания, Лаперузы...”

– Нас ждет капитан Гаттерас, – звал их Макар, – и мы взойдем на “Форвард”, трехмачтовый чайный клипер, потому что наша яхта ни к черту не годится для путешествия по океану. Именно он, капитан Гаттерас, доставит нас в Конго. А там мы сойдем, черкнем пару слов родне, что к Рождеству нас не ждите, да и к Крещению, мы в Африке, в экваториальном Конго, живем себе поживаем, устроились на кокосовой фабрике красильщиками.

Все тут же побежали к реке, думать, как можно лодку оборудовать для кругосветного плавания. До самого заката они сидели на камешках над тихими мутными водами Яузы, составляли список вещей, которые нужно взять в плавание. Макар писал на клочке газеты, а Шурупчик, Кумпол и Мурло смотрели на него как на волшебника.

– Рыжий, а Рыжий, а ты капитаном будешь? – вдруг тихо спросил его Шурупчик, светлоглазый паренек, схватив худой рукой за ворот Макаровой рубашки. – Если будешь, я за тобой – хоть на край света!

За день до Дня трубных звуков Ионе приснился сон, как затонул корабль, на котором он куда-то плыл. Днище легло на шельф морской, а верхушка мачты осталась торчать из воды. Никто никогда не видел в Витебске настолько огромных кораблей – ни во сне, ни наяву.

Иона всплыл и уцепился за мачту.

Небо было ясным, земля – тихой, улицы – чистыми, свежий ветер осенний веял по просторам мира. Дом молитвы был полон людей, закутанных в талиты. Казалось, их головы увенчаны серебряными коронами, одежды были белы, а в руках они держали книги. Море свечей горело в длинных ящиках с песком, от них шел чудесный свет и запах.

Ботик говорил, он пришел в синагогу морально поддержать друга в трудную минуту и был поражен этим светом, мерцающим пламенем, запахом меда от восковых свечей, а главное – какой-то немислимой святостью, исходившей от знакомых и примелькавшихся на улице людей.

Вот Хозя-селедочник примостился в уголке возле ящика со свечами. Талит, свисая, чуть ли не всего закрывает его, хотя он богатырь, не в пример тщедушному бухгалтеру старой закваски Ною, у которого из-под талита выглядывают краешки черных нарукавников...

– Что ж ты на праздник не снимешь нарукавники? – спрашивали его.

– Боюсь, Господь меня без них не узнает... – отвечал Ной.

Из-под лилейного покрывала выглядывал усатый и бородатый маслобойщик Самуил. Он помогал старенькой маме делать на продажу масло. Однажды майским безоблачным днем в Витебске случилось солнечное затмение. Над городом медленно погасло солнце и вспыхнули звезды. Естественно, многие решили, что наступил конец света и начинается Страшный суд. Все онемели, оцепенели. И в полной тишине раздался вопль дяди Сёмы:

– Мама! Давай масло скорее есть!!!

Подумал: остальное ладно, а масло – жалко.

Среди лавочников с Базарной площади – кто с черной бородой, кто с каштановой – высилась импозантная фигура Менделя Каценельсона, президента консолидации пекарей. Тут же благочестивый отшельник, кантор-песельник, какие-то оборванцы в пыльных чеботах, уличный парикмахер, банщик, воришка, полицейский – явились воздать хвалу Господу, восхвалить

его на лире и арфе, восхвалить его с тимпаном и в танце, на струнах и флейте, на громогласных звонах.

Ибо каждая душа, говорил Маггид, это искра, отлетевшая от единой исконной души – той, что целиком обретается во всех душах так же, как моя душа, – он вскидывал косматую голову и помавал, как орел крылами, – присутствует во всех членах моего тела!

Ботик стоял у окна: мельница, ямщик на булыжной мостовой, торчащая вдали церквушка и каждый прохожий были как на ладони.

Синева в окне синагоги сгущалась под молитвенный гул. Вместе с запахом поля, хлева, дороги в окна капля за каплей просачивались звезды. И в серебристом одеянии, окидывая пламенеющим взором свою разноперую конгрегацию, с тучами и звездами просочился в синагогу хоть и великий, но очень взбалмошный и сумасбродный Маггид. Его нутро было полно энергии и сияло, словно солнце после затмения. Народ прямо диву давался, какими такими добродетелями они заслужили настолько лучезарного раввина.

Встав у ковчега, раввин склонился благоговейно, помедлил, чтобы все чувства пришли в тишину и мысли его питомцев оставили всё земное. Затем он поднял Мафусаиловы веки на этих вечных странников, ежесекундно забывающих о высоком жребии своем, на эти щиты Земли, которым еще шататься и трещать на роковом перекрестке времен.

– Братья сердца моего! – произнес он как можно благосклонней. – Хотя Отец наш даровал Тору всем народам и всем языкам, мы одни на Земле восприняли ее. Поэтому возвысил Он народ Авраама над всеми языками и освятил нас заповедями Своими. Остальные народы, – горестно вздохнул Маггид, – это дело проморгали. В результате нет Его в храмах иных, кроме наших, и станут иные народы вовек поклоняться тщете и пустоте.

Все похолодели, сожалея, конечно, о недалёковидности других народов.

– Да соединимся мы с Твоим всемогущим Именем! – громоподобно воззвал Маггид в такие выси, что у тех, кто осмелился бы взглянуть, куда отправил свой зов раввин, попадали бы с головы ермолки. – Да рассеются враги Твои! – пророкотал он, и перекаты этого грома обрушились на детей Авраама, так что тени заплясали по стенам, а свечи разгорелись и полыхнули, и все зажмурились.

Главное, никто не чувствовал тесноты, хотя храм был переполнен. В тот день Ботик увидел чудо: люди стояли тесно друг к другу, но, когда они падали ниц, вокруг каждого оставалось еще по четыре локтя свободного пространства.

– От Тебя, Господь, и величие, и могущество, и великолепие, и удача на поле брани, и слава!.. – возносил свою Песнь Маггид. – Все народы рукоплещите и восклицайте Господу голосом ликования. А вам, – он погрозил кулаком своей пастве, – следует знать, что плач, свершенный в этот день, не будет искренним, если он полон уныния, ибо Божественное Присутствие коренится лишь в сердцах радостных. Пойте Господу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! Ибо Царь всей земли – Господь!

Прихожане, готовые слушать Маггида часами, испытывая невероятное счастье оттого, что видят его и дышат с ним одним воздухом, впадали то в экстаз, то в пучину отчаяния – до тех пор, пока их не охватило то же рвение.

Это был миг такого накала, будто внезапно все очутились в точке вращающихся миров. Неслышимые ухом вибрации залили храм, наполняя легкие вечным воздухом, словно воскрешая. Народ стоял наэлектризованный, в ожидании первой ноты партитуры бытия, поскольку не оставалось ничего другого кроме того, чтобы произнести благословение и вострубить в шофар.

Тогда проклюнулся, вклинился в Песнь раввина кантор Лейба:

– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, повелевший нам внимать звукам шофара...

С этими его словами в кипенном кителе выступил на авансцену Иона. Перво-наперво ему надо было провозгласить внятно и торжественно стих, который он зубрил днем и ночью,

уж на что Ботик позабыл-позабросил учебу, даже ему навсегда врезалось в память: “Блажен народ, ведающий трубление, Господь. В свете лица Твоего будут они ходить. И в благоволении Твоем возвысится рог наш”.

Однако от всей этой взвинченной атмосферы Иона лишился дара речи. В полной растерянности замер он в центре храма – невинный, непорочный, красный, как свекла, и, по мнению Ботика, смахивал на долговязую испуганную невесту.

Созерцая ясный свет своей души, Маггид не сразу заметил замешательства трубящего. Поэтому Иона устремил панический взгляд на кантора Лейбу. Но тот смиренно опустил глаза, а сам подумал:

“Рано тебе, парень, трубить в шофар. И твой Маг-гид тебе не поможет. Тоже мне, чертог мудрости! Псалмы Давида пересказывает своими словами. А перед шофаром, милые мои, должно прозвучать истинное Священное Писание. Иначе шофар не затрубит. И вся ваша праздничная служба – кобыле под хвост. Ну, видно, таков Божий промысел: я, после того как они опозорятся, буду раввином. А этим двоим – прямая дорога в Тартар!”

Лейба уже украдкой потирал ладони, воображая масштаб грядущей катастрофы.

Но вдруг в абсолютной тишине раздался шепот Ботика.

– Бла-жен на-род... – сложив ладони рупором, он стал подсказывать Ионе. – Бла-жен на-род... – отчаянно пытался Ботик вывести Иону из ступора.

Иона потом говорил, сколько они с Ботиком в жизни выручали друг друга – но этот случай был самый вопиющий.

Шепот Ботика вмиг опустил Маггида с небес на землю.

– Забыл, Иона? – спросил он. – Благословение трубящего запомнил? И Лейба в рот воды набрал? Ну, ладно, ничего. Давай, труби! А ты, брат сердца моего, – сказал раввин Ботику, – поди-ка с глаз долой.

“Ну-ну, – подумал кантор Лейба, с любопытством наблюдая, как новогодняя молитвенная служба поехала вкривь и вкось. – Труби-труби, пичуга, сын настройщика аккордеонов...”

Дрожащими руками Иона поднял шероховатый костяной рог и поднес к губам. Когда Маггид назвал первый звук – *ткиа*, Иона попросту загудел. И это гудение проплыло над головами молящихся, касаясь макушек, и сразу оборвалось.

Из полусотни человек, стоявших в храме, ни один не шелохнулся, все придержали дыхание, понимая – если и дальше так пойдет, никто из них в наступающем году не будет записан в Книгу жизни.

Второй звук – *шварим* – тяжелый, прерывистый, заметался от земли к человеку, обратно к земле и заглох.

Только третий – *труот* – получился пульсирующий, раскатистый и гулкий – к большому неудовольствию кантора Лейбы и громадному облегчению Ботика и Зюси.

– Ткиа шварим труот ткиа, ткиа шварим ткиа, ткиа труот ткиа... – указывал путь к небесам Большой Маг-гид, Иона доверчиво следовал этим указаниям. В ушах у него стоял какой-то звон, в глазах помутилось, но голос шофара креп и сгущался.

Иона трубил и трубил – то “воем воющим, вздыханием вздыхающим”, тогда народ видел сполохи пламени, гору дымящуюся, и в страхе отступая, шептали слова раскаяния: виновны мы, были вероломны, свернули с правильного пути, творили зло, присваивали чужое, давали дурные советы, лгали, бунтовали, враждовали, вредили, заблуждались, вводили в заблуждение других...

– Все съезжились, помрачнели, – рассказывал нам Ботик, схватившись за голову. – Ей-богу, у меня сердце бухало, как будто вот именно я обвинял невинных, грабил, глумился и свернул с правильного пути! До того мне страшно стало, как никогда потом не было! Даже на Гражданской в неравном бою! Даже когда меня ранили смертельно! И я задрожал от этого ужасного ужаса, просто затрясся. Смотрю – все вокруг содрогаются с головы до пят, и все

рыдают. Слезами обливались Зюся и Самуил, бухгалтер Ной сокрушенно утирал щеки черным нарукавником.

А кантор Лейба в звуке раскаянья “шварим” услышал, или это было наваждение? Кто-то прошептал ему в самое ухо: “Не пренебрегаешь ли ты Мудрым, постоянно проживая с ним? Чтишь ли ты его, для блага людского рода высоко поднявшего зажженный свой факел?”

– Господи! Прости мне грехи – известные тебе *и неизвестные!* – посыпал голову пеплом Мендель Каценельсон.

Затем звук шофара, непроницаемый, плотный, тягучий, воспарил в вышину. Он успокаивал, исцелял, вносил в сердце ясность и умиротворение.

– Все звуки, исходящие в это мгновение от домов и полей, – возглашал Маггид, – от рек и морей, от гор и диких орлов сливаются в мелодию, рождающую сердечный трепет мира. Пойте Царю нашему, пойте то, что поет каждую минуту и в каждом камне.

У него и правда иногда получалось довольно близко к священным текстам, а порой из уст его, охваченных восторгом, изливались песнопения великого ликования – сплошь из междометий, стонов и восклицаний, не предусмотренных никакими правилами.

Иона вострубил крик радости и вдруг увидел вспышку света, иного и странного, первооснову Бытия, весь этот мир и что он содержит, сияющего цвета, и услышал слова: “Крепись, сын Мой! Тебе предстоит пережить великое страдание, но не бойся, ибо Я буду с тобой!”

Он был ослеплен, пол зашатался у него под ногами, но перед тем, как потерять сознание, Иона выполнил последний долг трубящего: его накаленный шофар возвестил о Божественном милосердии и прощении.

Весь в слезах кантор Лейба подскочил к нему, оттащил в сторонку, побрызгал лицо водой. Потом взял из рук Ионы шофар – горячий, немного бугорчатый, шишковатый – и долго глядел на него изумленно, как будто впервые видел.

В тринадцать лет Ботик влюбился в девочку Марусю.

На Рождество у нее в доме украшали живую елку, Маруся – бумажными розами, Ботик с Ионой красили картофелины: Иона серебряной, Ботик золотой краской.

Еще они золотили грецкие орехи и на веревочках развешивали на ветках. А потом уже с улицы долго смотрели на мерцающую елку в темных окнах и жевали засахаренные груши, которыми их снабдила на дорожку бабушка Маруся.

Ботик говорил, когда он впервые увидел Марусю, на ней было платье в маленький синий цветочек. Что очень шло к ее голубым глазам. Еще у нее были каштановые кудри, довольно длинный нос и белые зубы, всё это разом свело его с ума. А что окончательно присушило к ней Ботика – она всегда встречала его улыбкой!

– Я когда тебя вижу, прямо весь... – Ботик бормотал.

– Ну? Ну?.. – тормозила его Маруся.

– Никак не подберу слова.

– А всё-таки?..

– ...Трепещу!

Ботик потерял голову от своей сумасшедшей любви, он мог часами бродить под ее окнами, ждал Марусю из гимназии, вечерами они катались на коньках в Городском саду. Она в белом кроличьем капоре мчалась на снегурках, привязанных к валенкам, а у него коньков не было, откуда у него коньки? Поэтому он просто бежал с ней рядом – вдруг она поскользнется, тогда он подхватит ее, и она не шлепнется на лед, не ушибет локти и колени.

Как-то раз они пришли засветло на каток, небо голубое, высокое, золотой закат, но стали наплывать облака, сгущаться сумерки, в парке зажгли фонари, снежные дорожки окрасились теплым светом. В те времена там бублики продавали, шоколадные коврижки. Каток был окружен гирляндой разноцветных лампочек. Звучала музыка. Падал снег.

...Внезапно закружились летние карусели. Кругом сугробы, а сквозь густой снегопад сияют и крутятся пустые кресла в вышине, поскрипывая несмазанными шарнирами.

Ботик замер, почувствовал себя парящим в воздухе, совсем прозрачным: что только небо одно на Земле – без земли, и всё неопишимо невесомо, открыто и сверкает.

Так он стоял, откинув голову, с застывшим взглядом, снег падал ему на лицо, а он никого не замечал вокруг – даже забыл про Марусю.

Кстати, поэтому его и вытурили из гимназии, что он выпадал из действительности. Задумается и полетит неведомо куда, в какие-то фиолетовые дали. Его зовут к доске, трясут, колотят линейкой, треплют за ухо, а он сидит себе, не шелохнется, пока душа не вернется обратно в тело – по звонку. Тогда он вскакивал и бежал на перемену.

Естественно, Марусина родня сомневалась, что Ботик подходящий жених.

– Твой Ботик, – удивленно говорила ей бабушка, – сегодня задумался и выпил пять чашек кофе и шесть – чаю.

Маруся никого не слушала, она твердо знала: Ботик – ее судьба и любовь. Единственная. На всю жизнь. И хотя родичам было любопытно, что он там пишет, этот грамотей, в своих цидульках, Маруся никому не позволяла читать его письма.

Он ей писал:

“Сколько яблок! Сколько лопухов и ромашек, сколько мух, пауков и жуков, а ворон на дубу! А камней и травы! А облаков, а воды в колодце – и всё такое живое!” – заклеивал слюнями конверт и бежал на почту. Конная почта в Витебске стояла на углу Оршанского и Смоленского шоссе.

Вёснами напролет он ждал ее на речном берегу, растянувшись на траве, прижав босые пятки к дубу. Яблони, вишни, всё цветет! Внизу одуванчики, полевые анютины глазки. Головы куликов торчат из травы. Гуси – они там тучами ходят. Орел низко пролетит, зажав в клюве мышь.

А в реку войдешь – рыбы за ноги хватают. Двина – рыбная река: сомы, толстолобики с поросенка – не утянешь.

Однажды черная собака стояла в реке по грудь – полностью неподвижно, – угольный хвост лежал на поверхности воды, и такой покой был у нее в глазах, что Ботик дрогнул. Как будто всё загромождение земли улетучилось куда-то и он попал в самое Сердце жизни. Оно было так полно и так пусто. И в этой полноте пустоты не было ни Ботика, ни Маруси, ни черной собаки.

И снова он целый час молчал, как пришибленный, хотя Маруся давно пришла, ее мелодичный голос волновал Ботика, она звала его, звала... Лишь только очнулся, когда Маруся – сама в первый раз обняла его и поцеловала.

Летом они гуляли в лесу, пахло медуницей, кричали кукушки, удода, соловьи...

– Знаешь, – говорил ей Ботик, – когда я сижу один, я часто разговариваю с Ионой, с тобой. Спорю, в чем-то убеждаю!

– А я думаю: расскажу Ботику! И – начинаю рассказывать!!! – заливалась Маруся.

Мы веселились с ней, прыгали, просто катались от смеха по траве, – говорил мне Ботик, уже старый, лысый, на даче в Валентиновке. – Даже ничего нет смешного-то, она идет посмеивается. Ты у нас в нее: вечно рот до ушей...

И она всё знала всегда.

– Вот лаванда, – говорила, – вон шалфей...

А я ведь жил и понятия не имел – где что.

В одно прекрасное утро они набрали на пруд лесной, заросший ряской, увидели головастики, как они рождаются из икры и листья кувшинок становятся большими прямо на глазах. Лягушки поют, заливаются соловьи.

И тут она сказала:

– Даже когда мы еще не были знакомы, я уже тебя знала и любила.

Она спрятала лицо у меня на груди, а я обнял ее и так крепко прижал к себе, с такой силой – она даже закричала. Кажется: “Дурак!” Но точно не “Идиот!” А потом тихо сказала: “Я хочу на тебя посмотреть”. Тогда я выпустил ее из своих объятий, – рассказывал мне Ботик, – и быстренько скинул рубаху со штанами.

Маруся глядит на меня – ни жива ни мертва, она ведь совсем не то имела в виду. А я застыл перед ней в чем мать родила, весь объятый пламенем, руки у меня красные, горячие, энергией так и пышут. Что такое жизнь? Ничего не понимаю!

Ботик стоял, вдребезги пьяный от чарки, наполненной страстью, не зная границ и преград, можно сказать, заполнил собой целое мироздание, весь разгорелся, словно финикийский бог солнца – Гелиогабал...

И в эту-то самую минуту, откуда ни возьмись, на него налетели шершни! Чудовищные шершни полосатые, гудящие, как люфтваффе, резали распаленное пространство вокруг Ботика со скоростью звука, впиваясь в него. Отскакивали и снова таранили. Он бросился бежать, ломая ветки, продираясь сквозь колючие заросли шиповника, но те упорно преследовали его, пока он не плюхнулся с головой в пруд.

Рой шершней кружил над прудом, казалось, их жуткое жужжание проникало через водяную толщу. Ботик боялся нос высунуть, только пускал пузыри. Храбрая Маруся с ревом кинулась в воду, размахивая его штанами над головой, словно шашкой. Она была так страшна в этой битве, что шершни испугались и улетели.

Но Ботик всё медлил и медлил всплывать. На дне он сразу же увяз в иле, глаза его начали привыкать к подводному полусумраку. Ласковая вода, синева, он стал оглядывать заросшие мхом валуны, ствол утонувшего дерева, с которым слились два тритона, и если б не гребни ящеров и не пятнистое оранжевое брюхо, их было бы совсем не различить на черной набухшей коре...

Крупная улитка с завитой раковиной ползла, высунув широкую плоскую ногу и упираясь ею в грунт, вода плавно обтекала черешки кувшинок.

Неясные тени появлялись, скользили, исчезали в глубине, мягкий свет менял свои оттенки. В ушах стоял плеск, тихий рокот, какие-то обрывки разговоров, ворчание. В подводных колоколах паучьих гнезд серебрились воздушные пузырьки.

Над прудом горело солнце, его лучи, преломляясь, тянулись в этот призрачный мир сквозь болотную ряску. Маруся устала на водную пелену, покрытую рябью, ее отражение плясало и ломалось в зеркале пруда, сливаясь с облаками и стрекозами.

Вдруг ей показалось, что Ботик превратился в рыбу.

И правда, в мутной глубине сверкнул серебряный бок и чернильный глаз в радужной оболочке.

– А ну превращайся обратно! – заорала Маруся. – А то я превращусь в птицу и улечу, и ты меня больше никогда не увидишь!

Ботик вынырнул, встряхнулся, забрал у нее свои штаны и двинулся к берегу.

На плече у него блестела серебряная чешуйка.

“В школу я поступил сам, когда мне было девять лет, – писал нетвердой рукою Макар по требованию Стеша, а иногда диктовал ей, это видно по перемене почерка. – Один, без родителей – у них и в мыслях не было меня чему-то учить, – обивал пороги училищ. Мне везде отказывали. Только в Петровско-Рогожском начальном училище Матрена Семеновна Нико-

лина заинтересовалась, «как это я сам иду поступать в школу». Проверила, умею ли я читать и писать, и объявила, что считаюсь принятым.

Учился я хорошо, в каждом классе сидел по одному году. Зимой в учебное время ежедневно получал я от матери две копейки на завтрак, отправлялся в школу всегда с выученными уроками, а летом в каникулы с самого утра и до поздней ночи бегал по улицам, копался в грязи и навозе Яузы и выпитывал в себя пороки уличной жизни.

Курить и играть в азартные игры я тогда уже любил. Но особая страсть у меня была к чтению. Майн Рида, Жюль Верна прочитывал по нескольку раз и грезил ими. С товарищами собирался бежать на Мадагаскар, чтоб там охотиться на тигров. Мы были пойманы, выпороты, струсили и никуда не поехали.

Начальное училище окончил с похвальным листом. Было очень больно расставаться со школой и товарищами, и в день напутствия, которое нам дала учительница, все мы были невеселы.

Я хотел учиться дальше, стать ботаником, как Паганель, меня влекли естествознание, физика, химия, астрономия, я интересовался инженерией, мне страстно хотелось узнать, как устроен мир, понять свое происхождение. Я вздумал отыскать Древо Жизни, в стволе у которого прячется бессмертие, искал его среди деревьев, которые превышали сроки человеческой жизни: дубов и лиственниц, ив и яворов, потом на каторге в Сибири – искал его среди вековых кедров, на фронте Первой мировой в Восточной Пруссии – среди буков и грабов, надеялся когда-нибудь, когда настанут лучшие времена, свершится мировая революция, найти его среди баньянов, баобабов и секвой...

Но о дальнейшем учении ни мать, ни отец и думать не хотели!

– Слыхала? – говорил Макар Макарыч Дарье. – Твой сын вздумал стать профессором! Ты уже выучился, Макарка, и должен помогать нам, восемь рублей на дороге не валяются, ступай, поучись, как жить в чужих людях. Не балуйся там, старайся, тебя заметят и, может, прибавят рублишка два.

Так что в одно ненастное утро я надел фартук, приготовленный для меня заботливой рукой матушки, и отправился к Беку – клеить пакеты из бумаги для деревянных сапожных гвоздей. Три тысячи пакетов в день, которые клеил я с семи утра до восьми вечера, сопровождали вечные оплеухи и подзатыльники. Стоило мне зазеваться, Бек огромной волосатой рукой хватал меня за чуб и ухитрялся так искусно отодрать, что потом целый час сверкали искры в глазах.

Еще любил он, если провинятся сразу двое, схватить за волосы одного и другого и таскать до тех пор, пока вдруг не запоет: «Ах вы, сени, мои сени», а потом стукнет голова об голову, что оба кубарем летели на пол.

При таком своеобразном воспитании у мальчуганов, которых работало там человек двадцать, естественно, возникала мысль как-то насолить Беку, и мы крали его кленовые гвозди! А если не удавалось краденое пронести и продать сапожникам, бросали их в отхожее место.

Сперва я тоже бросал, а потом задумался – правильно ли я делаю, что бросаю гвозди в нужник. Деревянные гвозди вечные в отличие от железных, те ржавеют, а эти живут дольше человека. Ибо символ жизни искал я среди деревьев, древо жизни, приносящее плоды, дающее нам каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов”.

В черном длиннополном сюртуке, под которым виднелась поддевка и рубаха, с тощей бородой, пегими усами и в потертой фетровой шляпе Шлома Блюмкин бродил по деревням, зажигал на многолюдных родственных застольях. Он был худ и бледен, и близорук, но из-под засаленной тульи глядели на тебя сияющие глаза – то серые, в синеву, а иногда какой-то невыносимой голубизны и прозрачности, точно смотришь с обрыва в чистейшую хлябь морскую и видно, как там проплывают рыбки.

Все ждали, изнемогая, когда Шлома начнет прелюдию. Мягкой рукой, никакого “крещендо”, так гладят собаку, он принимался водить смычком по старенькой скрипке, нащупывая мелодию, пробуя на вкус, на цвет, буквально осязая ее изгибы и повороты, неторопливо раскрашивая восточными орнаментами, трелями и причудливыми росчерками. Легкими движениями сопровождал он звучащий поток, не вмешиваясь в него, но и не пропустив животрепещущий миг, когда в полноводную “Хасидскую сюиту” властно вторгнулся стук судьбы, голос рока из Пятой симфонии Людвиг Ван Бетховена: та-та-там! Прум-прум-прум! Та-та-там!!!

Это был ужас, извержение Везувия, слушатели втягивали головы в плечи, казалось, над ними летят раскаленные камни, от которых еще никто не погиб, но уже многие имеют шрамы и легкие ранения.

После чего в ту же самую дверь, вслед за “стуком судьбы”, врывались бессарабские напевы – и лишь бесчувственный чурбан мог усидеть на месте и не пуститься в пляс.

В игре его всегда пульсировала какая-то безумная искра, особенно когда Шлома окончательно съезжал с катушек, обратившись в сгусток бешеной энергии. И этот яркий огонь и зорный свет охватывали тебя и разжигали в груди восторг такого невыносимого накала, что в разгар фрейлехса или кампанеллы разгоряченные гости сшибались лбами и ну – мордасить друг друга, в кровь разбивая губы и носы, а потом обнимались, целовались и просили прощения. Недаром Блюмкин-отец любил повторять:

– Зюсенька, сыночек, во всё надо правильно вложиться – иначе не будет никакой отдачи.

Но Шлома не был бы Шломой, если бы неистовые динамические фиоритуры под его смычком не оборачивались томительными чарующими мелодиями. При этом он добивался пронзительной певучести *santabile*. В ней слышался горький плач над загубленной жизнью, всхлипы и стоны, мольба о милосердии и – “тех-тех-тех”!.. Словно курица кудахчет! Всё лишнее, пустое, мелкое уносится прочь, и остается неуловимая звенящая беззаботность, которая наполняет тебя от макушки до пяток.

– Всегда надо мыслить на широкий жест, – говорил Шлома Зюсе, пареньку с оттопыренными музыкальными ушами, который повсюду таскался за Шломой, чтобы забиться в уголок на шумной попойке, где на столах уже красовались редька в меду, пряники, миндальные баранки, медовый хлеб, яблочный пирог, рыба, мясо, жаркое, вина, пиво, всё, чего хочешь, скушать сразу или кусочек утки и уже в полусне увидеть, как Шлома достает из футляра свою волшебную скрипку.

Однажды Зюся не вытерпел и поздней ночью, когда все затихли, решил посмотреть, что у нее внутри, откуда льются эти божественные звуки.

Он сел на кровати и огляделся.

Шлома спал, крепко обняв Рахиль, надо сказать, постоянно беременную.

Рахиль – смуглолицая, чернобровая, была двадцать первым ребенком в семье, последней у своих родителей. Теперь у нее – по лавкам: Славка, Зюся, Лена, Беба, Исаак и годовалая Софочка. Чтобы прокормить такую ораву, Шломе приходилось выкладываться изо всех сил. Денег его концерты приносили не ахти сколько, но заработок верный, и ночью спишь.

За ширмой в углу – бабушка Хая, Хая Ароновна, маленькая, седенькая, она тихо угасала. Рахиль с ней была резка.

Хая Ароновна:

– Сколько времени?

– Я же вам полчаса назад говорила, сколько времени.

– Мои часы, и я не могу узнать, сколько времени???

Или к ней кто-нибудь из внуков заглянет – она обязательно обратится с вопросом, к примеру:

– Ну что, папа вышел из тюрьмы?

– Да он был в Гвоздевицах на гастролях!

– Они из меня хотят сделать дуру! – всплескивает руками Хая Ароновна. – Как будто я ничего не знаю...

На печке – дедушка Меер, очень религиозный иудей. Он всё время молился.

– Бу-бу-бу...

Раз как-то Зюсю поколотили на улице, дворовые хулиганы сказали: “Ах ты еврей!” – и его побили. Он пришел: “Дедушка! – говорит. – Меня побили!” Меер ответил: “Ты не должен расстраиваться, Зюся. Это им хуже, что они тебя побили. Это им должно быть плохо!”

Ладно, Зюся откинул одеяло, на цыпочках подкрался к футляру – тот стоял в изголовье у Шломы, отец порою во сне прикасался к нему, чтобы удостовериться, что скрипка рядом. Его бы воля, он спал – одной рукой обняв скрипку, а другой – Рахиль, а то и – (не нам, конечно, судить, но смело можно предположить, по опыту зная, что за люди художники и музыканты!) – одну только скрипку.

Зюся был хорошо знаком с этим сундучком. В нем, кроме скрипки, хранился целый тайный мир человека с тонкой музыкальной душой: внутри на крышке приклеена фотография самого Шломы, худого, длиннорядого, с пейсами, портрет Рахили с детьми, снятых прошлым летом Сигизмундом Юрковским, известным и уважаемым в Витебске человеком, его фотоателье находилось на Замковой улице. Еще там был свернут рулетиком жилет шерстяной, запасной пояс, а во время дальних походов Шлома укладывал туда картофельные оладьи, печенье и бутерброды, завернутые в бумагу. Если же благодарные слушатели подносили клемеру пива или вина и его, веселого и пьяного, обуревала та же беспечность, какую Шлома дарил публике, тогда он твердо знал, что Зюся стережет инструмент.

Стараясь не скрипеть половицами, мальчик выбрался в сенки. На полу сушился лук золотой, шелестел шелухой, раскатываясь под ногами. Зюся положил футляр на стол и зажег свечу. Высветилась лежанка с кучкой розовощеких яблок, стертая клеенка на столе, скрипичный дерматиновый футляр.

Щелкнув замочком, он поднял крышку – на бархатной подушке лежала загадочная и грустная царица Зюсиной души, та, за которой он готов был шагать в осенние потемки, снежную пургу и весеннюю распутицу, ориентируясь по звездам и бороздкам, что оставил на песке ветер. И терпеливо, как солдат-пехотинец, переносить походные лишения.

Около скрипки дремал черноголовый смычок.

Зюся почувствовал себя Аладдином, завладевшим волшебной лампой. Откуда же берутся эти таинственные мелодии, думал он, вытаскивая из футляра сокровище Шломы. Что она прячет под своей деревянной кожей? – размышлял, освобождая ее из-под холстинки. Он медленно поворачивал скрипку, пытаясь угадать: внутри какой-то волчок, поющая юла или машинка чудесная?

Посветил в дырочки-эфы огнем свечи – темнота, и ничего не видать. Но сердце-то не обманешь! Там что-то есть! Наверняка в ней скрывается нечто, наподобие бабулиной музыкальной шкатулки. Зюсе не терпелось увидеть этот механизм, потрогать пальцами, понять, из чего он состоит. Даже дедушка Меер, безумно желавший узреть Меркаву с небесными чертогами ангелов, не был обуян такой решимостью.

В поисках чего-нибудь остренького – гвоздика или шила, мальчик выдвинул ящик стола, нащупал ножичек и попробовал поддеть им край деки, но мешал гриф – гриф-то держит. А убрать гриф не позволяли струны – всё в ней было взаимосвязано, как в живом существе, невозможно развязать.

Зюся начал раскручивать колки: струны жалобно пискнули и ослабли. Одну за другой он вытаскивал за узелки – сперва тоненькую, металлическую струну, дальше вторую, потолще, а напоследок – третью и “басок”, обвитые алюминиевой и серебряной канителью.

На улице залаяла собака. Ему почудились шаги. Он вздрогнул и оглянулся. У двери, привалившись к стенке, стоял мужик, втянувши голову в плечи. Зюся не мог его толком разглядеть. Пламя свечи плясало, отбрасывая тени, фигура шевелилась. Парень чуть не умер со страху, пока сообразил, что это одежда Шломы на вешалке – сюртук, сверху шляпа, а на полу сапоги.

Зюся перевел дух, расстелил на клеенке чистое белое полотенце, каждую струну отдельно завернул в бумагу и выложил их по порядку, чтобы не забыть, какая струна за какой.

С грифом пришлось повозиться, но он справился. Впервые Зюся держал гриф, отдельный от всего остального. Он погладил прохладную гладкую поверхность, ладонью ощутив бугорки и выемки, стертые рукой Шломы за годы игры. Колки чуть скользили, для плавности вращения отец натирал их мелом или мылом. Головку грифа заключал завиток. Это чудо примостилось на полотенце возле струн.

Теперь у него в руках лежало само тельце скрипки. Легкое, как перышко, тут и ребенку ясно: столь невесомая коробочка могла быть только пустой. Но Зюся еще надеялся – вдруг это устройство, откуда льются звуки, сделано из какого-то неведомого ему воздушного материала.

– Кантик подцеплю, коробочка и откроется...

Острием ножа он поддел выступающий кант и, осторожно орудуя лезвием, отсоединил деку от боковой скрипичной дощечки – обечайки.

Внутри было пусто.

Ему открылось только пространство, обратная сторона рисунка, откуда исходили беззвучные мелодии. Оно слегка светилось и мерцало. Живой пустоте, источающей свет и энергетические токи, скрипка Шломы обязана была пенъем, чистым, как серебро, очищенным от земли в горниле, семь раз переплавленным; мягким и теплым тембром, силой и блеском.

Зюся стоял, потрясенный, испытывая одновременно радость и ужас. Радость – что разобрал, и ужас – что теперь обратно не соберет. Упаси Бог! Только бы отец не увидел, что он наделал. Он до того струсил, аж весь похолодел. К тому же он страшно устал. Поэтому всё обстоятельно разложил на полотенце, сумел бы – пронумеровал, и подумал: пораньше встану, возьму клей и склею.

Утром его разбудили буйные возгласы: – Что случилось??? Горе мне, горе, несчастье, скрипочка моя...

А случилась мелочь. В сенках на полотенце лежала разобранная до колков, до пружинки-душки, до верхнего порожка с прорезьями для струн скрипица Шломы: дека отдельно, дно корпуса и обечайки отдельно. Гриф, подгрифок, шейка и головка, расчлененная на колковую коробку и завиток.

Все в доме почувствовали, что подул недобрый ветерок, надвинулась туча, вот-вот начнется буря и разразится беда, спаси господи и помилуй. Шлома, бледный, с потемневшими глазами, метался по дому, заламывая руки. Рахиль, как могла, пыталась его урезонить. Меер молился, беззвучно шевеля губами. “Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие...” – шептала за занавеской Хая Ароновна. Дети притихли, накрывшись с головой одеялом.

– Кто это сделал??? – вскричал бедный Шлома. – Где он, злой вандал, подайте сюда этого дикаря, я вытряхну из него душу!!!

Зюся сжался в комочек и заскулил, уткнувшись в подушку.

– Ты??? – обескураженно воскликнул Шлома. – Ты??? Мой возлюбленный Зюся? Мой неутомимый и верный оруженосец??? Зарезал! Без ножа зарезал!.. – он обхватил голову руками и заплакал.

Мне бы, дураку набитому, кинуться к Шломе, утешить его, повиниться, – говорил Зюся пару-тройку десятков лет спустя своей благоверной Доре, – но прямо ком застрял в горле, ноги были ватные, поэтому я просто вылез из-под одеяла, в одних трусах, босой, худой, фалалей простодырый, и дрожу – как осенний лист на ветру.

– Зачем? – стонал Шлома. – Ты можешь мне объяснить? Зачем?

– Хотел посмотреть, что у нее внутри, – чуть слышно лепетал Зюся. – Откуда берутся все эти звуки... Подумал, открою и увижу механизм с дудочкой и колокольчиками...

– Какой же ты болван, Зюся, – проговорил Шлома изумленно. – Ты разве не видел? Это поют ангелы небесные!

– Боже милосердный, мальчик хотел как лучше, откуда ему было знать, что получится вагон неприятностей? – проговорил благочестивый Меер, слезая с печки.

Кто может описать смирение, кротость и мягкосердечие, а также усердие в молитвах, которые были присущи этому святому старцу с длинной белой бородой, отроду не стриженной? Каждый день зимой и летом, ни свет ни заря он шел в синагогу помянуть неперменной молитвой покойных родственников. Меер приходил туда три раза в день – утром, днем и вечером, – молиться, изучать толкования Торы, и называл синагогу *иттибл*, что на идише означает “домик”.

– Пойду в свой *иттибл*, – он говорил, – *lemen a blat Gemore*.

Именно *lemen* обычно употреблял старик: “изучать”, говорил он, а не “читать”!

– Ниспошли, Господи, Свет Своего Лица на нас, – ободрял и увещевал Меер зятя, собираясь и одеваясь, – не погружайтесь в пучину отчаяния, дети мои, это не самое непоправимое, что может послать нам наш Господь...

– Я склею ее обратно, – запричитал Зюся. – Я всё там запомнил, что и куда, бабушка еще не вернется из синагоги, как она будет точно такая, какая была. Дайте мне клей, дайте клей, мама, клей!!!

Рахиль сидела, положив одну руку на стол, другую себе на живот, голову ее венчала прическа, украшенная заколкой, и когда Зюся вспоминал ее, а он частенько ее потом вспоминал, и она нередко снилась ему ночами – вот именно такой, сидящей неподвижно, глядящей на них с отцом глубоко проникающим взглядом.

– Ничего не выйдет, сынок, – сказал Шлома, утирая слезы. – Пойдем к мастеру, если Джованни Ферро-ни не спасет мою скрипку, мы пропали.

Словно величайшую драгоценность, каждый фрагментик, каждую частицу своего поверженного инструмента Шлома обмотал мягкой ветошью, всё это они с Зюсей аккуратно уложили в футляр и отправились к Ване – так звали в Витебске обрусевшего итальянца, скрипичного мастера Джованни.

Допустим, был конец сентября, вдоль Богадельной улицы через Смоленскую торговую площадь к левобережью Двины шагали смурной клезмер в длинном черном пальто с поднятым воротником и в шляпе, надвинутой на глаза, и его горемычный сын, жертва собственной любознательности.

Феррони обитал в доме купца Моисея Деревянникова, крещеного еврея, сам купец давно почил в бозе, а его сыновья потихоньку транжирили купеческое богатство, нажитое на бакалейных товарах. Во двор можно было въехать на тройке с бубенцами, такой он был необъятный, но заваленный полусгнившими бревнами – Деревянников собирался надстроить третий этаж и сделать открытую веранду с балясинами. По вечерам он мечтал на веранде пить чай с пирожными и смотреть на солнце, погружающее свои лучи в теплые воды реки Хесин, так древние называли Западную Двину. Моисей во всем норовил подражать древним, поэтому никогда не называл ее как нормальные люди, а только “Хесин” и “Хесин”. Откуда он это взял? Даже при смерти, лежа на огромном продавленном диване (“на нем я родился – на нем и умру”), Деревянников произнес, окинув последним, весьма недоверчивым взором троих сыновей, известных всему Витебску повес и кутил:

– Положите меня на голубую лодку и отпустите по реке Хесин...

Не суждено ему было уплыть на лодке в Литву и дальше в Балтийское море. Сочтя волю отца чудачеством, братья похоронили его на окраине Витебска, на Старосеменовском клад-

бище – как “выкреста”, по православному обряду. Бакалейное дело купца Деревянникова они развеяли по ветру. Чтобы не обнищать, сдавали по частям двухэтажный каменный дом с баялинами студентам и приезжим, а флигель продали мастерскому Феррони...

Как мне отыскать золотую середину между растянутостью романа и краткостью половицы? Казалось бы – чего проще? Вспыхивают очертания героя с непременным указыванием на местожительство, далее перечисляются его свойства и свершения. Следом то, что Аристотель называл “перипетиями” странных персонажей, свидетельствами удивительных деяний, яркими высказываниями, высеченными на мраморе или лучше – на граните. Тут же – эпизоды, извлеченные из истории вечной борьбы между гением и его близкими, рождающие – вопреки всему! – веру в триумф духа над косными обстоятельствами жизни. Глядь, город уже наполнен призраками, и нету никаких опознавательных примет – призраки ли материализуются или ты сам уже призрак, бредущий по мосту через забвение?

Господин Феррони был человек необщительный, хотя итальянец. Как он попал в Витебск, никто не знал, но поговаривали, не от хорошей жизни Джованни оказался в нашем городке, где если и проживали иностранцы – всё больше поляки да немцы. Известно, что сошел в один из солнечных дней лета молодой курчавый Джованни с поезда “Одесса – Динабург” попить чаю на вокзале, да так и остался здесь на всю жизнь.

Поначалу работал в мастерской краснодеревщика Попова, и сразу не простым столяром, а мастером маркетри – вырезал узоры из разных пород дерева и склеивал их в мозаики. А через несколько лет ушел от своего благодетеля, открыл собственную мастерскую, стал изготавливать скрипки. И первая же скрипка вышла у него до того хороша, что Ахарон Моше Холоденко из Бердичева, по прозвищу Пидоцур, купил ее у него за пару монет (“А что вы хотели, – говорил потом Моше в трактире за кружкой пива, – чтобы сам Пидоцур покупал у залетного птенчика его первую скрипку задорого?”). Но какой это был матракаж для Феррони! Заказы пошли, и не только от местных музыкантов, а со всей губернии.

Шлома благоговел перед его мастерством, считал, что в руках Джованни оживают кусочки дерева и начинают самостоятельно петь, только натяни жильные струны и закрути правильно колки.

Он тихо постучал, и дверь отворилась сама по себе.

Мастер Джованни сидел за огромным столом – выписывал циркулем дуги и окружности. Шломе видна была лишь его горбатая спина, длинные спутанные волосы, спадающие на плечи, и вытертые до блеска локти коричневого сюртука. Комната, уставленная досками и брусками, густо пропахла древесиной, сосной и смолой. На стенках покачивались от сквозняка подвешенные к потолку деки, шейки и грифы.

Не оборачиваясь, Джованни произнес:

– Здравствуй, Шлома. Что, скрипку принес? Не случилась ли с ней неприятность?

Как он узнал, кто к нему пришел? И зачем? Видимо, незримые нити связывают скрипку с мастером, пускай даже сделанную далеко отсюда, кем-то, кого и на свете давно уж нет.

Джованни поднялся им навстречу, открыл футляр и ахнул.

– Это еще что? Последний день Помпеи? – совсем немзыкальными руками – толстыми пальцами, заостренными у кончиков, с коричневыми от морилки ногтями – он осторожно вынимал каждую деталь скрипки, оглядывая со всех сторон.

– Мой сын, господин Феррони, – проговорил Шлома, – это сатана, а не ребенок, вздумал заглянуть в ее утробу, посмотреть, откуда берутся песни.

Печальный, как Лот в Содоме, как самурай, у которого от меча остались лишь ножны, стоял Шлома Блюмкин перед мастером, ожидая приговора. Из-за спины отца выглядывала постная физиономия Зюси.

Джованни пристально посмотрел на мальчика, и в его черных глазах зажегся огонек.

– Значит, ты решил узнать, откуда исходит музыка, паршивец? *Quello artigiano!* – воскликнул он, смеясь. – Как говорили древние: “*Felix qui potuit rerum cognoscere causas*” – счастлив тот, кто познал причины вещей! Не тужите, бен Шлома. Я соберу вашу скрипочку. Это будет нетрудно сделать. Взгляните, ваш сын не испортил ни одной детали! Чтобы столь ювелирно разобрать инструмент, да еще при лунном свете, – *belle, bravissimo!* Поверьте, маэстро, с божьего изволения она запоеет как прежде. А ты, малыш, – приходи ко мне завтра, будем вместе над ней колдовать, погляжу, на что ты способен...

Так Зюся стал учеником скрипичных дел мастера Джованни Феррони, или дяди Вани. Сразу после занятий в школе он прибегал во двор купца Деревянникова, толкал дверь флигеля и оказывался в обители горбуна-чародея, склоненного над скрипкой, иногда над альтом, реже – над виолончелью. То ли алхимик в поисках пилюли бессмертия, то ли сапожник в фартуке и очках, целыми днями Феррони точил и резал дерево, слушал, как оно звучит под смычком и под ударом обтянутого кожей молоточка, что-то клеил, выдалбливал, выскабливал, выстреливал. А Зюсик мыл полы, собирал в кучу разбросанные там и сям рабочие инструменты: стармески круглые и плоские, такие же рубанки, разнокалиберные щупы и цикли, начищал верстак, пилил еловые чурбачки.

Двигаться приходилось осторожно, не приведи бог расколотить какой-нибудь гипсовый слепок виолончельной деки или головки грифа или на полках стеллажей нечаянно задеть локтем округлые бутылки, наполненные вязкими лаками.

Секрет их приготовления Феррони скрывал. Только для Зюси выуживал он из заветного ящичка баночки с заморскими семенами и травами. В одной лежали пестики шафрана, в другой – высушенные кошенили.

– Если их растолочь, – говорил Джованни, – получится порошок багряного цвета. А это корень марены для золотисто-красных тонов. Отцу моему, Ипполиту Феррони, и деду, Марко Феррони, корень марены купцы кораблем доставляли из Мексики. “*Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?*” – где те, которые до нас жили на свете? – вздыхал он. – Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть светит им.

Под окном у него росли четыре вишни, вот они вдвоем выйдут с банкой и собирают с вишневого ствола смолу – опять-таки весьма полезную для Ваниных самодельных лаков. Или он посылал Зюсю вдоль запруд реки нарвать ему хвоща – “лошадиного хвоста”, которым полировал дерево. (Никогда наждак, боже упаси!)

Вместе они бродили по дворам; стоило им услышать, где-то рушится дом, – скорей туда! Все свои заработки Ваня пускал на покупку развалившейся мебели, старых дверей и ворот, высохших стропил под крышей.

Самые отборные досочки и брусочки погружал в первую попавшуюся колымагу, сажал туда Зюсю, телега, поскрипывая, катилась, буксуя, по слоистому песчанику, извозчик сопит и погоняет лошадь: “Но! Но!”, а Джованни примостится над колесом, подсакивает на ухабах и рассуждает, как он выражался, обо всех вещах, доступных познанию, и о некоторых других...

– Правильная скрипка, *mia artigiano*, требует дерева по крайней мере сорокалетней выдержки, – он любовно перебирал в руках бесценную добычу, доставшуюся им на шармачка. – Елка для верхней крышки, клен для нижней. Клен снизу лучше всего отражает звук. Ива с тополем тоже голосистые. Но клен всё же предпочтительней.

Зюсик:

– Да, дядя Ваня, да! – кивает головой.

Какое ж удовольствие проехаться вдоль речки с камышами, кладбищенской ограды, мимо заборов, лавок на базарной площади, церкви, мельницы и синагоги, этих незамысловатых и вечных строений, их еще на своих фресках изображал земляк Вани – Джотто.

– Важна каждая мелочь: как ты отпилил чурбачок, прямо или закосил? – с азов – ab incunabulis – учил Джованни мальчика своему чародейскому ремеслу. – Ширину годовых колец лучше выбрать не большую и не маленькую, но среднюю. О многом расскажут тебе очертания скрипки. В линии Страдивариуса (этим своим Страдивариусом дядя Ваня Зюсе уши прожужжал!) чувствуется художник Рембрандт, зато инструменты Гварнери как будто бы сделаны невращением, почти сумасшедшим. Линия напряженная, страстная, скрипка у него страшная, но звук!

Грохот деревянных тележных колес по бревенчатому мостку заглушил наставления, но вскоре Зюсик вновь обрел драгоценную возможность черпать из этого бездонного колодца.

– ...и таких мелочей – тысячи, – вдохновенно продолжал Феррони, хотя из него душу вытряхнуло на этом чертовом мостке. – Взять хотя бы нашего толстозадого буцефала! – Феррони потянулся к жидкому пегому хвосту с оголенной репицею старого мерина, шагавшего на негнущихся ногах, раскачивая боками, перед повозкой. – De facto: хвост и хвост, а ведь не всякий конский волос пойдет на смычок, но лишь упругий, крепкий и певучий. Vis vitalis, сынок, жизненная сила, которая всегда в движении, – вот что служило материалом для скрипичных патриархов...

Вдоль облупившейся дверной доски, вытянув рожки и оставляя влажный серебристый след, ползла виноградная улитка с пятнистой оливковой раковиной, закрученной спиралью.

– Вглядись-ка в ее завиток, – Феррони осторожно взял улитку и пересадил ее на ладонь Зюсе. – Улиток много, а такой завитушки нигде больше не найти! Вот и на головке грифа завитушка – автограф мастера. Какая у него жизнь – такой и завиток...

Сколько лет прошло, а этот сумрачный глуховатый голос звучит и звучит в Зюсиных ушах. Зюся охотно вступает в разговор, что-то спрашивает, советуется, получает консультации.

– С кем ты там разговариваешь? – удивляется Дора.

– С дядей Ваней, – отвечает Зюся.

– Его давно нет на свете, – обижается Дора, – а я – вот она – живая и нежная, но тебе дороже он, а не я!

Зюся с ней не спорит, голову опустил и скребет арку деки, памятуя завет Феррони:

– Жизнь музыканта и судьба мастера, Зюска... да что там! Сама гармония Вселенной зависит от того, как ты выдолбишь высоту свода!

Нет уже дедушки Меера, душа его успокоилась накануне праздника Йом-Кипур в тот миг, когда он молился за своих детей, чтобы все они были чисты перед Богом и людьми. Отдыхает после долгих трудов Рахиль. Рано, до обидного рано покинул этот мир клезмер Шлома, огненной кометой пронесшийся над Витебском и его окрестностями.

Сильно обветшали те, кто веселился и плясал под его цыганскую скрипку, в одну из осенних звездных ночей разобранную Зюсей на мельчайшие подробности; скрипку, быть может, не простых, а королевских кровей, к сердцу которой сам Джованни Феррони, прозревший мировращение, подобное сновидению, наваждению и прочее, – как ни бился, как ни ворожил, как ни склеивал деки с обещаечками, ни сочленял гриф из красного палисандра с эбеновым подгрифком, шейкой и завитком, как он ни тянул струны к колкам, – не смог подобрать ключа.

С горечью я отмечаю сей факт, ибо моей палитре куда ближе радужные тона, и если бы я тут что-то сочиняла, я бы немедленно возвестила о том, что Зюся оказался свидетелем чуда: на его глазах скрипка Шломы воскресла и заиграла лучше прежнего, но – увы.

Не то чтобы Феррони напортачил (в Витебске, если напортачат, сделают всё возможное, чтоб никто не заметил). За полтора месяца он привел инструмент в безупречное состояние. Было дело, он отремонтировал скрипку Страдивари! По чертежам старинной книги воссоздал виоло де бончо 1636 года Николо Амати. Чтобы клезмер Блюмкин вновь обрел кормилицу, Ваня в ход пустил весь наличный инструментарий. Клей, которым он склеивал скрипку

Шломы, был настолько хорош – им Феррони приклеил себе передний зуб, и этим зубом обглаживал до конца своих дней вареные свиные колени!

Ab imo rectore, из самой глубины души – всё было выверено и точно, звук разборчивый, ясный, отчетливый, внятный. Только вот беда, Феррони слышал эту скрипку, когда она и впрямь служила обителью песнопений, он помнил ее силу, теплоту и блеск, энергетические токи, ветер и волшебные пространства. И, замороженный памятованием этого предвечного света, звука, бывшего еще до начала времен, дядя Ваня – хоть тресни! – никак не мог от нее добиться соединения с небесными сферами. Таинственная трепещущая точка – *punctum saliens* – ускользала от него, скрипка Шломы не соглашалась петь по-прежнему.

– *Saramba!* – ворчал Феррони, сидя на треногом кресле из карельской березы с драной обшивкой, в своем допотопном плюшевом сюртуке. – Легче выстрогать дюжину новых скрипок, чем собрать одну эту.

– Значит, надежды нет? – спросил Шлома, явившись, наконец, за скрипкой.

– Могу вам помочь только вздохом, – сумрачно отозвался Феррони. – Пес ее знает, бен Шлома. Это или чума, или Божий перст.

А то Шлома сам не знал, у него была бешеная интуиция.

– Будь что будет, Джованни. Я привык водить смычком, мне трудно остановиться. А пропадать – так с музыкой. – Он забрал скрипку, хотел расплатиться за работу, но старик отвел его руку.

– Я сделал всё, что мог, и пусть кто-то сделает лучше; но в наших руках лишь оболочка ангела. То недолет, то перелет, бен Шлома. Попробуйте облегчить звук, он станет полнее и опрятнее. Ведь вы такой виртуоз. Да будет с вами благословение Божие.

Как они возвращались домой, Зюся помнил смутно. Ноябрь. Сырой ветер сметал с тополей и кленов последние листочки. Отец быстро шел по улице, не оборачиваясь. Зюся едва за ним поспевал. Пустынно, только коптят фонари да мерзнут бродяги. Издалека со стороны базарной площади доносилась музыка, в Городском саду – гулянье. Словом, в памяти Зюси остался лишь размытый силуэт с футляром в руке.

– Ну вот, я же говорил, что всё обойдется, – обрадовался дедушка Меер, когда они явились с целенькой скрипкой. – Скажем: *зол зайт мит мазл!* Чтобы так было и дальше! Будем здоровы!

Рахиль приготовила фаршированную рыбу, до того вкусную, даже Хая Ароновна осталась довольна, хотя бабуля всегда утверждала, что два блюда на свете считаются прямо-таки священными – фаршированная рыба и печеночный паштет. Оба должны быть приготовлены или очень хорошо, или их вообще не стоит готовить, ибо это богохульство.

К тому же работка для Шломы наклюнулась – пока его не было, забежал на огонек Берка Фрадкин, управляющий с табачно-махорочной фабрики, и сообщил, что Роза, дочь его младшего брата в деревне Луциха, выходит замуж. Вот они просят маэстро Блюмкина оказать им честь поиграть гостям на скрипочке.

– Так тому и быть, – ответил Шлома, с виду почти беспечно.

А что оставалось делать? Взял скрипку, собрался и поехал, правда на сей раз один. Зюсю, как я уже говорила, отдали в хедер, откуда он каждый день сбегал в мастерскую к Феррони. Поэтому не знаю, играл ли Шлома на свадьбе под шквал аплодисментов, не жалея сил, достиг ли вершин своего прежнего огня, кричали гости: “Вальс!”, “Падекатр!” или “Фрейлехс!”... Заливался ли, взмахнув смычком, наш импровизатор столь грустной мелодией, что народ идохнуть боялся, застыв с тарелками в руках, наполнил ли сердца божественными звуками, добрался ли до самозабвенности бытия?

Или в Луцихе Блюмкина, чародея и самородка, с его побывавшей в переделке скрипкой слушали вполуха, не найдя в ней прежнего богатства звуковых стихий. Витебскую публику на

мякине не проведешь, это же такие веси и города – в них всегда звучит музыка, там бродили шарманщики с песнями Россини и Малера...

А то и, не приведи господь, освистали, да еще намяли бока, на свадьбе клезмеру нередко приходится иметь дело с грубыми людьми – мастеровыми и крестьянами, которые не питают ни капли уважения к музыканту.

Впрочем, наверняка гости пели-плясали, никто и в ус не дул, что некоторые пассажи оказались немного смазанными да слегка грешит интонация, кроме самого скрипача. На бис он обычно исполнял “Пивную симфонию”, где имитировал звуки льющегося в кружку пива. Чувствительное ухо могло даже распознать сорт пива (из-за чего клезмерские авторитеты поговаривали, что Блюмкин лучше разбирается в пиве, чем в музыке, – из зависти, конечно). После чего угощался на славу, поспит часика четыре и на рассвете – в обратный путь.

А тут вышел за калитку посреди ночи и был таков. Ясно, что он заблудился, вряд ли Шломе была известна дорога к Витебску; кто бродит по ночной степи в осенние меркульевы дни, разве умалишенный: край этот не райские кущи, и поездка туда не увеселительная прогулка. Возможно, случились ночные заморозки, на другой день до полудня лежал на земле рыхлый лед. Блюмкин долго шагал по холмам и равнинам, пескам и бороздам в лиловую даль. А когда устал, прилег на ворох соломы посреди сжатой полосы, под голову положил футляр со скрипкой и провалился в какую-то звенящую черную бездну. Да в утробе скрипки гудел огонь.

Чувствует, кто-то трясет его за плечо.

Шлома открыл глаза – увидел комья земли с прожилками снега, багровое солнце, ворон на меже и белобрысого паренька.

– Ты что разлегся? Волки стаями рыщут! Простынешь, дядька, совсем заиндевел! – мальчик усадил Шлому в свою колымагу, худо-бедно она поехала по бездорожью, качаясь, словно лодка по волнам, продвигаясь к развязке нашего рассказа.

Мелькал бурьян, булыжник, снопы соломы и травы, дождь накрапывал, ветер так и норovil сорвать шляпу, Шлома прижимал к себе скрипку, придерживал шляпу, всё, казалось ему, озарено сверкающим светом, и старинная песенка вертелась в голове:

Цигель цигель ай-лю-лю...

Козочка, торгующая изюмом и миндалем...

Нор, нор, от азоу,

Est di tsig fun dakh dem shtroy...

Приехал домой и слег, думали – бронхит, оказалось воспаление легких.

“...На пятнадцатом году моей жизни, в год, когда разгоралась первая русская революция, втиснули меня в большую фабрику чая Губкина-Кузнецова у Рогожской заставы, где работало 800 несознательных человек, грохотали железом машины и носилась по воздуху едкая чайная пыль.

Жалованья мне положили 10 рублей.

Чаеразвеска представляла собою огромное квадратное трехэтажное здание. На самый верх поступал в мешках чай, его сортировали, и по трубам сыпался он на второй этаж, где 500 человек завертывали его в бумагу – сперва осыпальщик, потом вертельщик, после свинцовщик, далее этикетчик, бандерольщик, штемпелевщик и укладчик. 50 000 фунтов – полмиллиона пачек в день – тысяча пятидесятифунтовых ящиков. А восемь рослых рабочих наваливали ящики в тележки и спускали в цокольный этаж, их укладывали на воз и отправляли на железную дорогу.

Я заворачивал чайные листочки в цинковую бумагу, цинк разъедал пальцы, и все там чахли молодыми, в развеске Губкина-Кузнецова, наглотавшись чайной пыли.

Но я и не думал чахнуть.

Меня воспитала улица и неудержимо влекли к себе пьянство, гульба и азартные игры. Каждое второе слово у меня было «задница» или «дерьмо». И всё же я верил, что разум мой выберется из дебрей заблуждения: читал с целью самообразования «Эрфуртскую программу» Каутского, «Хитрую механику», «Царь-голод», «Ткачей» Гауптмана, сочинения Писарева, Чернышевского, посещал вечерние курсы и собрания в чайной около Полуярославских бань в Сыромятниках, а также массовки на Калитниковском кладбище, где ораторы мрачными красками рисовали положение рабочих под игом самодержавия.

После собрания пели песни.

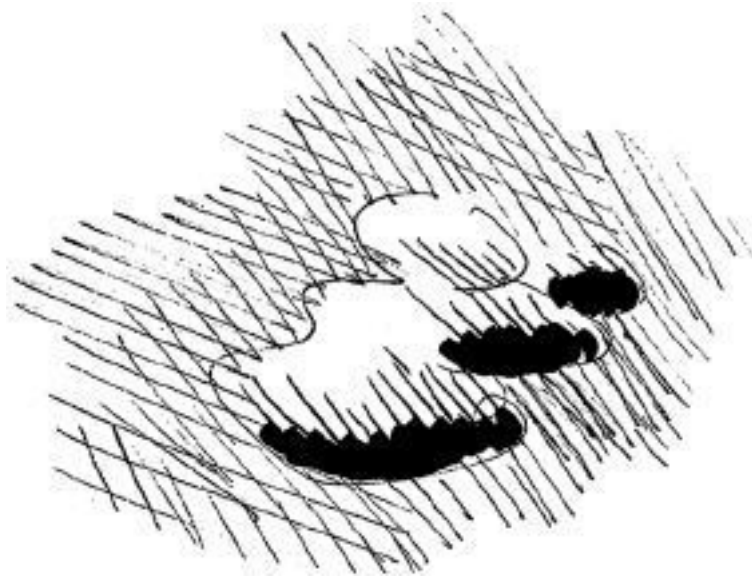
– Давай, Макарка, «Машинушку»! – говорил пропагандист нашего района Рачковский по кличке Хабибулла.

Я запевал «Машинушку».

Мне, накаленному, заполошному, всегда трудно бывало сдерживать себя: или на коне – или в канаве, такой я человек! Иной раз подумаешь осадить себя, охолонуть, а самого колотило, всего разжигало изнутри! Вот и Россию также лихоманило, только масштабы другие. Трясло и молотило ее по-всякому...” – писал рабочий Макар Стожаров в главной книге своей жизни “Мы – новый мир!”, опубликованной в кооперативном издательстве “Московский рабочий” в 1922 году.

## 2. “Если мы заглянем в улей...”





Холодным декабрьским днем душа клезмера Блюмкина оставила земные пределы и полетела в Девахан, утрачивая всякое воспоминание о бедствиях земной жизни. Зюся, укутанный в платок Хайи Ароновны – завязки под мышками, – совсем не плакал, а только повторял: мама, я виноват, я, я. А мама отвечала: что ты, Зюселе, при чем тут ты, папа заболел, потому что простудился.

И правда, наше рождение в этом мире – мистерия гораздо более глубокая, чем мы думаем, все мы вписаны в эту драму в соответствии с замыслом Предвечного. Однако с того момента Зюся жил одной мечтой – стать Мастером и соорудить точно такую скрипку, какая была у Шломы, чтобы, когда она заиграла, зрители замерли от восторга.

За ледяным бельмом окна мелькали тени московских прохожих, слышался смех, ругань кучера, звон церковного колокола.

Замерзшими пальцами Макар заворачивал чайную труху в серебряные бумажки. И хотя в личном деле за номером 641, которое Стеша без малого сотню лет хранила в сундуке, на вопрос: “Если вы неверующий, то с какого возраста?” – старательным почерком Макара написано: “С 12 лет”, – несколько серебряных бумажек всё-таки припрятал себе в карман, чтобы сделать рождественскую звездочку и принести домой. Повесит он эту звездочку на окно, и будет свет ее означать свет рождения младенца Революции. О ней, как о светлом празднике, мечтал Макар Стожаров: в новом 1905 году будет всё по-новому!

После работы Макар ходил на лекции в рабочем собрании, в Лигу самообразования, возникшую, правда, по инициативе кадетов, слушал умных людей о жизни звезд и Вселенной, о космосе, о вечности, о возможности достижения других планет, о поисках Трои и Земли Санникова. Учился уму-разуму. Вход стоил 5 копеек, полицией разрешено. Всё официально, на лекции присутствовал пристав, косился на рабочих из-под фуражки, чертил что-то в свою серую тетрадку.

У Макара в кармане тужурки тоже припасена тетрадка, в нее он записывал разные мысли, которые бродили в его голове. Были в ней и “вирши”, или “поэмки”, так называл он свое рифмованное творчество, по весне его обуяла мания стихосложения. Если карты выпадут удачно, спросит докладчика и прочитает свое последнее!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.